

## ГОСТЬ

**МИХАИЛ СМИРНОВ**

**(Россия)**

**РАССКАЗЫ**

### **Мозаика жизни**

Аким Фадеев добрался до деревни ранним сентябрьским утром. Более суток на поезде в душном переполненном вагоне, где гомон стоял круглосуточно, а пассажиры то и дело шмыгали по проходу. И вздохнул облегченно, когда объявили его станцию. Торопясь, спустился, держа в руках выцветший вещмешок. Отошел в сторонку и закурил. Раздался долгий гудок и вагоны поплыли мимо него. Поезд стал набирать скорость. Аким посмотрел вслед поезду, который и останавливался-то всего на минутку-другую. Хотел было зайти в буфет, но раздумал и, подхватив тощий вещмешок, заторопился к трассе, что проходила неподалеку от вокзала. Повезло. Долго не пришлось стоять. Первая же машина остановилась возле него, когда он махнул рукой. Аким не стал в кабину забираться, буркнул, что там воздуха маловато, забросил тощий вещмешок в кузов, подтянулся и одним рывком взобрался следом. Оперся об кабину и всю дорогу провел на ногах. Мотал головой, вытирал рукой глаза, может, пыль попадала, а может, слезы вытирал – кто знает... Осматривался по сторонам, с удивлением замечая большие перемены. И правда, всё вокруг изменилось за долгие годы, но в первую очередь изменился он сам...

На повороте, когда показалась деревня, Аким постучал по кабине. Не дожидаясь, когда остановится машина, он подхватил вещмешок и спрыгнул на землю. Сунул деньги за проезд и махнул рукой шоферу. Тот просигналил и запыхтел по проселочной дороге. Аким опустил вещмешок на землю. Достал мятую полупустую пачку сигарет и закурил, продолжая осматриваться. Попутка давно уж укатила, а он почему-то не решился сделать первый шаг. Словно преграда стояла, а может, страх перед будущим. А каким оно будет – это будущее, Аким не знал.

Он докурил. Окурок маленький, но всё равно не стал выбрасывать. Вдруг пригодится. Достал спичечный коробок, в котором были окурки, сунул туда и снова спрятал в карман. Так, на «черный» день... Громыкнув кузовом, мимо проехал грузовик. Шофер выглянул. Нахмурившись, всматривался в Акима, что за чужак появился в деревне, к кому приехал. И Аким взглядом проводил его. Не узнал шофера. А как узнаешь, если в деревню вернулся после двадцати с лишним лет отсутствия, пятнадцать из которых провел в местах не столь отдаленных.

Аким задумался, куда пойти. Если домой, в доме давно никто не живет. С той поры, как родителей схоронили, пока он срок отбывал. А к родне пойти, он не знал, как его примут, а то и на порог не пустят. Да и вообще кто-нибудь из родственников остался в деревне или, как и он в свое время, в города подались и там живут. Живут и про деревню не вспоминают. Аким тоже не вспоминал. Попади в родные края в другое время, наверное, он бы мимо проехал, а сейчас решил возвратиться, но останется ли жить в деревне – этого не знал. Ему не хотелось возвращаться в город или колесить по стране. Он устал от лагерной жизни, куда быстро попадаешь, а вернуться домой и отмыться от этой грязи — сложно и не каждому удается.

Он задрал голову и взглянул на утреннее, но уже прохладное сентябрьское солнце. Громко чихнул. Сморгнулся. Сплюнул. И, прищурившись, снова посмотрел на солнце. Ранняя осень. Бабье лето на дворе. Со дня на день начнут картошку вы-

капывать, пока дожди не зарядили. А пока взрослые на работе. В деревне остались старики. Ребятишки в школе. Не слышно детских голосов. Редкий раз петух заорет, или донесется собачий лай, и снова наступает спокойствие. Ну, как тишина... Отовсюду доносился шум машин и тракторов, дороги паутиной протянулись по округе. За лесопосадкой лязг и тарахтенье. Там мастерские. Отсюда их не видно, где стоял Аким, но он помнил, как в детстве бегал туда с друзьями. Взрослые гоняли их, а мальчишкам было интересно поглядеть, как ремонтируют машины, как ковыряются в моторах. И они тоже старались подлезть под руки мужикам, с советами совались, а их прогоняли, обещая крапивой отстегать. Но мальчишки не унимались. Всюду совали свой нос. А летом, бывало, приставали к рабочим и кланчили резиновую камеру, чтобы в пруду или на речке поплавать...

Аким вздохнул, вспоминая детство. Взглянул на деревню. Деревья заполонили всю округу. Золотом плавают березки под утренним солнцем, а там рябинки алеют гроздьями. Склон горы в проплешинах, а лес, что был на другой стороне реки, сплошь в разноцветье. Сердце защемило при виде этой красоты. Аким растер грудь рукой и снова вздохнул. Н-да, более двадцати лет не был в деревне – это огромный срок, а пятнадцать из них, которые провел в лагерях, вообще можно выбросить из жизни. Да, конечно, можно выкинуть, а что же делать с памятью, что делать с этим огромным сроком, где каждый день не двум или трем дням равнялся, а каждое мгновение, проведенное в неволе, можно смело приравнять к цене самой жизни. Там чужая жизнь ни во что не ставится, но для каждого, кто отбывал срок, своя – бесценна. Аким тоже ценил её и поэтому сейчас живой, а не лежит в сырой земле...

Хорошо, что никого не видно на деревенской улице. Аким забросил вещмешок на плечо. В нём ничего нет. Пара маек, трусы, книжка, да всякая мелочь. Это всё, что заработал в своей жизни. Правда, есть деньги, но они ещё понадобятся. Неизвестно, что его ждет в дальнейшем, а деньги всегда пригодятся.

Аким оглянулся, словно решался, и наконец сделал первый шаг. За ним второй и третий. Он сбежал с дороги и пошел по тропке, что вела вдоль дворов. Не хотел, чтобы его видели. Лучше позднее встретиться со всеми, посидеть и поговорить, но сейчас, именно в этот момент, он никого не хотел видеть. Он вернулся в родную деревню после стольких лет отсутствия. Сейчас ему просто хотелось добраться до дома, а по дороге посмотреть на деревню, что с ней стало, а потом заглянуть в свою душу и подумать, как он будет здесь жить, да и будет ли, а если не понравится или не приживется, тогда дом на замок и станет мотаться по стране. Не за счастьем помчится, а будет покой для души искать. Слишком она устала за все эти годы, проведенные в лагерях...

Он шагал по тропке, исподлобья посматривая на деревню. Напротив, возле дома, сидел старик в телогрейке, в фуражке, надвинутой на глаза, и в штанах, заправленных в шерстяные носки, и в галошах, а рядом с ним свернулась клубком пестрая кошка. Он прислонился к забору, за которым рябинка развесила яркие гроздья. В руках клюшка. Сидел, и было видно, что дремлет. Наверное, пригрелся на солнце. Вдалеке появилась женщина с ведрами. Аким замедлил шаги. Она подошла к колонке. Пока наливала воду, всё всматривалась в Акима, пытаясь угадать, кто это в такую рань по деревне шагает, но не признала и, подхватив ведра, засеменила к калитке.

Аким вытащил сигареты. Взглянул на магазин, стоявший на пригорке. Замок висит. Потом посмотрел на солнце. Уж высоко поднялось. Пора бы магазину открыться. Наверное, продавщица запаздывает, а может, за товаром уехала. Если отправилась за товаром, тогда не раньше обеда появится – это он помнил из далекого детства. Приостановился, хотел было подождать, а вдруг придет, но из проулка появились две старухи, направляясь к магазину. Он вздохнул, заметив любопытные взгляды старух, отвернулся и прибавил шаг. Они смотрели вслед Акиму, о чем-то зашептались, тыча пальцами, потом пристроились на пустых ящиках возле крыльца,

продолжая прерванный разговор.

Издали донесся протяжный дребезжащий звонок – это в школе, что виднелась неподалеку от березового колка. Чуть погода дверь распахнулась, и на улицу высыпали мальчишки. Закричали и тут же принялись играть в какую-то игру. Следом за ними появились девчонки. Они столпились возле двери и о чем-то разговаривали. Иногда кричали мальчишкам и грозили кулачками. Пронзительно визжали и, толкая друг друга, скрывались за дверью, спасаясь от мальчишек, которые пытались поймать их. Так было всегда. Аким часто вспоминал, как они с друзьями бегали на улицу, тоже играли, а еще задирали девчонок, то за косички дернешь, то толкнешь. А те визжали и мчались в школу, чтобы пожаловаться училке. Интересно, а Марь Петровна жива? В те времена она была старухой. Ну, как старуха... Все, кто был постарше, уже считались взрослыми или старыми. Опять донесся дребезжащий звонок. И ребята помчались в школу, торопясь проскочить мимо уборщицы в линиялом синем халате, которая вышла на крыльцо с мокрой половой тряпкой в руках и, насупившись, подгоняла учеников...

Аким свернул в проулок и, невольно замедлив шаги, нахмурился, несколько раз оглянулся, не ошибся ли он, а потом нерешительно остановился возле забора, который и забором-то нельзя было назвать, до того редок он был. Аким остановился, всматриваясь в постаревший родной дом, но не стал заходить. Духу не хватило. Окинул взглядом заросший двор. Повсюду репейник, а крапива вымахала выше человеческого роста. И такие заросли, что не продерешься. Зарос двор. Некому присматривать за порядком. Родители ушли друг за другом, пока он последний срок досиживал. Прошло всего два-три года, как их не стало, а гляди же ты, что с двором происходит, не говоря уж про репейник да крапиву, что стеной вымахали повсюду. Он снова посмотрел на дом. Старый. Краска облупилась. Кое-где видны голубые пятна, и всё на этом. Ставни закрыты. И крыльцо покосилось. Зато – это его дом. А зачем приехал, он не знал. Может, чтобы передышку сделать в своей жизни, а потом, если не сможет найти себя или надоеет деревенское житьё, плюнет на всё и будет мотаться по стране, покой для души искать. Ну, а ежели на себя рукой махнет, тогда вернется к своим друзьям и начнется разгульная жизнь, а потом опять на нары. Много дорог в жизни, а нужно выбрать одну, видать, его время подошло и надо решать, к какому берегу прибаваться, чтобы наконец-то сложилась мозаика жизни, которая в молодости разлетелась на мелкие частички, и до сих пор он не может её собрать воедино. Пора прибаваться, а куда причалить – он еще не решил...

Возле калитки широкая скамейка. Он помнил её. Гляди ж ты, сохранилась! Еще с отцом устанавливали. Дубовые столбики вкапывали, а потом отец прибил толстыми гвоздями широкую доску. Сказал, что эта лавка сто лет простоит. И правда, ничего с ней не случилось! Пусть сто не сто, но уже не один десяток лет стоит. Аким присел на край. Положил рядом тощий вещмешок. Откуда-то порывом ветра донесло запах свежего хлеба, такой мать пекла в детстве. В животе заурчало, и опять сердце сжало. Он достал сигарету и задымил: густо и торопливо – тоскливо. Вернулся домой. Казалось, сейчас хлопнет дверь, заскрипит крыльцо под быстрыми шагами, а мать не умела медленно ходить, и всегда казалось, словно она бежит. И выйдет мать и крикнет: «Акимка, хватит лентяйничать. Ну-ка, ступай и помоги отцу». Или скажет: «Хватит штаны протирать, лучше в магазин сбегай». И тогда он начинал клянчить деньги у матери, чтобы купить горсточку конфет. Мать поворчит для порядка, но даст. Он схватит сетку, покрепче зажмет деньги в кулаке и в магазин мчится. В магазине всегда были подушечки. Слипшиеся в один комок. Продавщица, тетка Дарья, ножом отковыряет немного, бросит на весы и пока считает его копейки, он брал сладко-приторный комочек и понемногу начинал от него откусывать. А конфетки прилипали к зубам, и не отдерешь. Зато вкусные! А еще в магазине были пряники. Черствые – страсть! Ими можно гвозди забивать, как смеялся отец. Но тоже вкусные.

Две-три штуки возьмешь и чвалдыкаешь полдня.

Аким вздохнул. Казалось, такие мелочи, а помнятся. Да что говорить, если вся наша жизнь состоит из мелочей. Она, эта мелочь, и есть мозаика жизни. Только и делаешь, что укладываешь. Для каждой детальки свое местечко ищешь, а не найдешь, куда приткнуть, так затеряется среди прочих, но придет время, и она, эта самая деталь, сама на место укладывается, и получается рисунок. Рисунок жизни. У одних он яркий и красочный, у других цвета поблекшие, но всё же разноцветные, а у третьих – как зебра полосатые, черно-белые, а уж ярких цветов, можно сказать, почти не видно. Вот и живут люди, каждый выкладывая свою мозаику жизни, а что ждёт человека в жизни – никто не знает, потому что каждый получит по заслугам своим...

Дом постарел. Как бы в землю врос за эти годы, пока он отсутствовал. И крыша местами прохудилась. Он еще возле калитки заметил, что сарай покосился. Нашлась добрая душа, слегами подперла. Так, на всякий случай... А вот баньку не видно за бурьяном. Раньше баня стояла возле речки, что протекала позади огородов, а потом её перенесли поближе, когда воду в дома стали проводить. Многие старики так сделали. И воду не нужно черпать из речки, и до дома близко. Не нужно тащиться межой до реки, а вышел во двор, спустился с крыльца, и в конце двора, за забором, стоит банька. Пусть молодые к речке бегают, вволюшку напарятся, а потом прыгают с обрывчика в омут. А старикам много ль нужно – всего ничего. Долго не сидят в парилке. Чутко побряхтят на полке и хватит. Аж сердце заходится. Немного похлестался веничком и достаточно. Помылся. Опрокинул на себя ведро воды и всё – чистый, можно идти домой и у бабки просить заслуженную стопочку после баньки. И старухам хорошо. Не нужно с бельем тащиться на зады огородов, а потом снова с мокрым и неподъемным бельем возвращаться домой. Пока доберешься, вся упреешь. Вот и приспособились ставить баньки возле двора...

Аким поднялся. Подошел к калитке. Снял проволочную петлю со столбика и толкнул. Калитка не открылась. Ухватившись за прожилину, немного приподнял просевшую калитку, распахнул и зашел во двор. Перед ним стена из репейника и крапивы. Вроде, осень на дворе, а сорняк прет, как на дрожжах. Ничем не выведешь. Чуть прозеваешь, всё заполонит. А такой, как сейчас во дворе разросся, его обычной косой не возьмешь. Под корень нужно рубить, а еще лучше, если с корнем вывернешь. А чем валить, если лопаты под руками нет. Топором не справишься. Крапива – это такая зараза, что её голыми руками не возьмешь. Отец, бывало, лопатой подрубал, вспомнил Аким. И правда, где её взять? Он стал озиаться. А потом, решившись, повесил вещмешок на калитку и, морщась, стал приминать сорняки к земле, чтобы добраться до крыльца. Добрался. Взмок, аж ручьи со лба потекли, как показалось. Утерся рукавом. Вернулся. Схватил вещмешок и стал подниматься по скрипучим ступеням крыльца. И снова остановился. Оглянулся. А потом уселся прямо на грязную ступеньку. Закурил. Курил торопливо, а сам исподлобья поглядывал во все стороны, осматривая двор. Если остаться в деревне, замучаешься, пока двор в порядок приведешь, а еще и дом нужно подправлять, и кособокий сарай. А еще в баньку не заглядывал. Неизвестно, что с ней. В саду, что был подле дома, две старые яблони видны, вишня заполонила, и малина стеной стоит, а в огороде, где картошку сажали и свеклу, потому что там близко вода проходила, бурьян виднеется. А зима не за горами. Как жить, если никаких припасов не заготовлено?

Аким тяжело вздохнул. Достал тоненькую пачку денег – это всё, что заработал в лагере за последний срок. Покрутил в руках. В который раз пересчитал и снова сунул в карман. Задумался. Как жить на эти деньги? Не жить, а хотя бы протянуть долгую и холодную зиму. Пока был в лагерях, привык к малому. Голода не боялся. Но тут же свобода, здесь дом. Если жить, как все люди живут, денег не хватит – это точно, а просить – лагерная жизнь отучила. Эх, а может, взять и плюнуть на эту деревню, на родной дом и умотать в город, к дружкам старым, с кем срок мотал, кто

раньше него освободился. Они звали к себе. Говорили, мол, будешь шампанское стаканами хлестать, шоколадом заедать, а телок будет, как до Берлина, в три ряда. Да, можно податься. Загулять на всю катушку, на всю ивановскую, как говорят. Жить одним днём. Жрать и пить в три горла, стараясь не думать, что ждет тебя завтра. А завтра приедут и заберут тебя под белы ручки, и снова отправят на нары, потому что в этой жизни нужно за всё платить, а за красивую жизнь – тем более. И плата – огромный срок, а вот выйдешь ли на свободу или сдохнешь от туберкулеза или еще какой-нибудь хворобы в лагерной больничке и похоронят с номерком на маленькой табличке – этого никто не знает, и Аким – тоже...

Н-да, вот уж задачка, – мотнул головой Аким. Поднялся. Подошел к двери. Замок висит. Старенький, простой. Гвоздем ковырни и откроется. Но Аким не стал искать гвоздь. Знал, где всегда хранился ключ. Понадеялся, что никто его не забрал. Сунул пальцы за обналичку над дверью. Всякий мусор под ними. Откуда же его нанесло? Долго искал. Уж было отчаялся, а тут под пальцами почуял ключ. Небольшой, плоский. В щелку между досками провалился. Долго выковыривал Аким, пытаясь ухватиться за него. Но наконец-то получилось. Выудил. Весь ключ побит ржавчиной, кое-где взбурилась накипь. Но все равно Аким сунул в замок и принялся крутить его туда-сюда, чтобы хоть немного разработать старый механизм. Раньше-то и мучиться не пришлось бы. Этот замок легонький. А сейчас не хотелось его ломать. Всё же домой вернулся. Все же он – хозяин. И вскоре со скрипом, но ключ провернулся в замочной скважине, и дужка выскочила из гнезда. Аким снял замок, толкнул дверь и шагнул на веранду...

Аким переступил порог и остановился. Прищурившись, всмотрелся во тьму. Глаза не сразу к ней привыкли. Дом нежилой, а запахи остались. Сквозь затхлость пахнуло чесноком и луком, ароматами сухого разнотравья: душицей, малиной, иванчаем и еще какими-то, разве всё упомнишь. А может, почудились эти запахи из прошлого? Аким опять вдохнул, задержал дыхание и пожал плечами. Понемногу глаза привыкли к темноте, а он всё еще стоял и дышал, дышал и дышал; у родины немало запахов, но самые долгожданные – в доме...

На огромных гвоздях, вбитых в стену, висят фуфайка и замызганная подростковая куртка. Уж не его ли? Аким прислонился к ним щекой, рядом жестяной плащ, еще какая-то хламида, а на полу стоптанные, скукоженные сапоги, огромные ботинки с ободранными носами, в них хорошо на двор бегать. Сунул ноги в эту обувь и на двор помчался. А рядом с ними проржавевшее ведро на боку, из которого видна тряпка. Аким хотел было разуться, но передумал. Столько времени в доме не убиралась. Толстый слой пыли повсюду лежал, а паутина – та клочьями свисала. И повсюду была заброшенность...

Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, Аким распахнул дверь, обитую драным дерматином, и оказался на маленькой кухоньке. Это было царство матери. Большая печь раскорячилась, подпирая потолок. В углу ухват виднеется, а на полу несколько чугунков и пара больших кастрюль. Перед окном стол, на котором стояла эмалированная миска, перевернутая вверх дном, и стакан, на подоконнике засохший цветок, рядом с ним воткнутая вилка. Это всё было видно при лучах света, пробивающегося через щели провисших ставень.

Аким, не разуваясь, прошел в горницу. Всё так же, как было много лет назад. Ничего не прибавилось. Хотя... Хотя появился небольшой телевизор на столе, прикрытый тряпкой. Газета, на ней тетрадка и карандаш. Две табуретки под столом. Кровать за занавеской, а в углу шифоньер с распахнутыми дверками. На пыльных рассохшихся полах две дорожки. Окна закрыты ставнями. Он сделал шаг, другой, и закружилась пыль в солнечных лучах. Там и сям пробежали яркие дорожки. Дорога к солнцу – он вдруг вспомнил, как мать называла эти лучи. Ишь ты, казалось, давно забыл, а тут – на тебе, всплыло. Снова закачал головой Аким. Потоптался, потом по-

ложил вещмешок возле дверного косяка, а сам отправился на улицу...

– Ну-ка, стой, шельмец, – раздался скрипучий голос, едва Аким появился на крыльце. – Что тебе нужно в доме? Ты кто? Зачем лазишь в чужой избе? Ну-ка, показывай, что стибрил! – и опять сказал: – Ты кто такой?

– Конь в пальто, – вздрогнув, огрызнулся Аким, увидев сухонького старика с клюкой наперевес, словно ружье держал. – Убери пукалку, а то стрельнешь ненароком.

– И стрельну, – вскинулся старик, потрясая клюкой. – Ходят тут всякие, тащут, что ни попадя. Морды наели, а работать не хотят. Ишь, расплодились субчики! Вот уж я найду на вас управу, и на тебя – тоже! Ишь, дармоеды!

И погрозил скрюченным пальцем.

– Тоже мне, гроза до ночи, – буркнул Аким, взглянув на ершистого старика. – А что тебя-то носит по чужим дворам, а? Может, сам решил пожить? Не иначе, присмотрел что-нибудь. В хозяйстве всё пригодится, да? Я уже заметил, что лопаты не видно, которая в этом углу стояла, и косырь исчез, которым полы скребли. Уже стырил, да? Привык тягать, что плохо лежит...

– Да ты... Да я... – запнулся старик, запыхтел, вздернув реденькие брови, сдернул фуражку с головы – лысина обнажилась, а по краю – тонкий венчик волос. – Ах ты... да я час... – он не знал, что ответить, а потом выпалил: – Вот Маньку кликну, она вмиг тебя по рукам-ногам свяжет. Не дочка у меня, а минцанер самый, что ни на есть, настоящий, тока фуражки не хватат. Ага...

Сказал старик и замолчал, не зная, что ему делать.

Аким усмехнулся. Не мужиков хотел позвать, а дочку. Было видно, что старик опасается её. Наверное, есть за что... И снова хмыкнул.

– Ну вот, не успел появиться, а меня снова милицией пугают, – нарочито вздохнул Аким. – Я за всю жизнь столько их перевидал, что другому на три жизни хватит, а ты вздумал пугать. Для меня тюрьма – что дом родной...

– Обормот! – не удержался, рывкнул старик и погрозил клюкой. – Разве ж можно так говорить? Родной дом – он один бывает. Дом, где родился, где твои мама с папакой жили и тебя, ирода, замастрячили и вырастили, в жизнь отпустили. А помирать станешь, сам мыслями домой вертаешься, где тебя мамка с батькой ждут, а ты – тюрьма, тюрьма... Тьфу, дурень какой! – старик сплюнул, растер галошей плевки и погрозил пальцем. – Ух, задать бы тебе перца! Вот уж правда, Маньку кликну, быстро шею намылит. – И повернулся в сторону улицы, словно правда собирался позвать.

– Н-да, – пробормотал Аким, почесывая щетинистую щеку. – Приехал, называется. Устроили встречу, того и гляди обратно на этап отправят...

– А кто ты? – вздернув бровки, сказал старик и надвинул фуражку на глаза. – Что делаешь в доме? Неча рыскать по чужим избам, а то кликну народ или Маньку позову, тогда быстро отлуп получишь...

– Что, опять Манькой вздумал грозить? – взъерепенился Аким. – Я уж отбоаялся своё. И дом не чужой, а самый, что ни на есть, мой, потому что здесь родители жили, и я родился и в жизнь ушел, но моя мозаика рассыпалась, что до сей поры не могу собрать воедино...

– Да ну тебя, брехун, – отмахнулся старичок, но всё равно повнимательнее посмотрел на Акима. – Меня на мякине не проведешь. Родился тут, про какую-то зайку талдычишь... – и опять повторил: – Брехун! А знаешь ли ты, мил-человек, что у хозяев не было ребятни. Одни жили. И померли одни. Всем миром схоронили. А где ж ты был, ежли говоришь, что родом отселева? Что же ты своих мамаку с папакой в последний путь не проводил, как полагается сыну родному? А сейчас стоишь и фу ты, ну ты, лапти гнуты, он в родной дом приехал. Я же вижу, что брешешь! Чать, решил в чужой хате поселиться, да? Вот и придумал небылицу, что тут родился. Меня не проведешь. Я каждого человека наскрозь вижу, а всяких проходимцев, на тебя по-

хожих, – тем более.

Сказал и замолчал, отдыхиваясь. Не привык к таким долгим разговорам.

– Я – Аким Фадеев, – ткнув себя в грудь, сказал Аким. – Здесь родился, учился, а потом в городе остался. И там работал, пока не...

И не договорил. Нахмурился и замолчал. Было видно, что ему неприятны воспоминания.

– Да ну, брехун! – опять сказал старичок и махнул рукой. – Да, был у них малец – это верно. А потом слух по деревне прошел, будто он стал убийцем. Лучше на глаза ему не попадаться. Враз жизни лишит. Всегда вот с таким ножиком ходил, – и старик раздвинул руки, показывая. – Из тюрьмы не вылезал, а может, специально держали, чтобы людей не порешил. Вот те крест, правда! – он махнул рукой перед лицом. – А потом пропал. Ни слуху, ни духу. И тут бумага с гербом пришла, где сообщалось, что их сын помер, а вот где схоронили – этого не помню. Вроде, даже и имя не написано, – и тут же стал объяснять. – У них же как, кто в тюрьмах сидит... Имен нет, а есть номера. Да, сам видел! Выйдет такой из колонны и начинает докладать, что жулик под таким-то номером на месте, а не ударился в бега. И если убёг – сразу собак по следу, и всю милицию поднимают, что убёг варнак с таким-то номером. И всё! Глазом не успеешь подмигнуть, как поймают. У нас не забалуешь – факт!

Старик ткнул пальцем вверх и гордо взглянул на незнакомца: вишь, скока я знаю!

Аким усмехнулся, взглянув на ершистого старичка.

– Хочешь, верь, хочешь, не верь, но я и есть тот единственный сын Фадеевых, – сказал он, достал сигареты и закурил. – Вот приехал, чтобы...

– И правда, мать божья, убийца объявился, – торопливо махнув рукой перед собой, перекрестившись, пробормотал старичок. – Это что ж получа...

Не договорил. Отшатнулся и оглянулся. Послышался скрип калитки, и донеслось ворчание.

– Отец, куда умызнул, а? – раздался протяжный женский голос, и старик вздрогнул. – Что по чужим дворам шляешься? Заблудился, что ли? Здесь никого нет, наливать некому. Ну-ка, марш домой. Ишь, губы помазал, а теперь будешь по всей деревне рюмки собирать. Марш, кому сказала?!

Послышались неторопливые шаги и ойканье. Видать, об крапиву задевала.

– Ты, Манька, не повышай голос, не повышай на отца родного, а лучше за вожжами носись, – снова захохотал старичок, но на всякий случай немного отошел в сторону. – Я тута самого, что ни на есть, настоящего убийцу поймал. Под прицелом держу, чтобы не сбежал. Уж хотел за тобой посылать, чтобы по рукам-ногам связала варнака этакого.

И ткнул скрюченным пальцем в Акима.

– Какого варнака, что мелешь-то? – возмутилась дочь. – В каких зарослях нашел его, а?

И, ойкнув, потирая руки, она появилась перед крыльцом, с недоумением, а потом с любопытством посмотрев на Акима.

– Вот же стоит, – снова ткнул старик. – Я к Ивану Матрехину отправился. Хотел подпилочку взять, свой куда-то запропастился. Значит, иду по тропке и вижу, калиточка приоткрыта и поваленный бурьян на земле. Ага, думаю, кто-то в избу забрался. Я быстрее к крыльцу подался. Тока подошел, а тут он – этот душегуб вываливается, как увидел меня, сразу с кулаками кинулся, а потом хотел за ножик схватиться, но я ему не дал. Замахнулся и как закричал: «Стой, вражина, а то клюшкой отхожу, что на одно место сесть не сможешь». Испугался, чуть было полные штаны со страху-то не наложил. Вон стоит и трясется, а я караюлю...

– Кто с кулаками? – оторопел Аким. – С каким ножом, старый? Я не успел в дверях появиться, ты уже клюшкой замахал. Господи, да что же такое делается-то?

Опять ни за что на зону отправят.

И растерянно осмотрелся.

– Манька, ей-богу, правду говорю! – старик снова махнул рукой перед лицом. – Ты глянь на него, глянь. Чистый варнак! Так и зыркает глазищами, так и зыркает, того и гляди за ножик схватится, душегуб этакий! Но ничего, теперь мы вдвоем быстро скрутим его. Ага!

И погрозил пальцем.

– Неужели снова буду срок мотать? – растерянно сказал Аким. – С таким свидетелем быстро зеленой лоб намажут. И дернуло же меня приехать в деревню. Тащился в такую даль, чтобы...

И не договорил, озираясь по сторонам.

– Аким? – удивленно сказала Мария. – Ты живой? Глазам не верю! Ты же... Да ну, не может быть...

И отмахнулась, тряхнула головой, а потом снова пристально стала вглядываться в лицо Акима.

– Я это, я, – насупившись, сказал Аким и с недоумением глядел на дочь старика. Что-то было знакомое в лице, а узнать не мог. Что-то крутилось в памяти, очень знакомое, казалось, давно её знает, но вспомнить не получалось. Он снова повторил: – Я это... Вот, вернулся, а тут устроили встречу, хоть опять в тюрьму отправляйся.

– Аким, как же так... – она продолжала смотреть на него и всё качала головой. – Ведь все ж считали, что ты помер. Даже родители думали, что тебя схоронили. Мать сильно убивалась. Постоянно плакала, что даже на могилку к тебе не съездишь. Закопали, аки собаку, и табличку с номером повесили. Как же так, Акимушка?

Она снова повторила и продолжала качать головой.

Он вздрогнул, услышав, как назвали его. Так мать называла в далеком прошлом.

– Похоронили? – удивленно сказал Аким, пожимая плечами. – Я ж живой. А кто это сказал?

И посмотрел на Марию.

– Одни говорили, будто какую-то бумагу прислали, а другие сказывали, что пришло письмо от твоего дружка, в котором он сообщил, что ты помер на его руках и схоронили там же, где ты был, – принялась рассказывать Мария. – А где был – он не написал. И больше ни на одно письмо не ответил. Мать не поверила. Всё ждала, что ты напишешь, потом не выдержала, сама сделала запрос, не знаю, как правильно сказать, но ей не ответили, а может, письмо затерялось... – а потом неожиданно сказала: – А ты насовсем вернулся или проведать приехал?

– Мать знала, что я не пишу письма. Не умею, да и не люблю. И никого не просил, чтобы за меня написали. Странно это, что меня похоронили. Кто-то пошутил нехорошо, – он протяжно скрипнул зубами, а потом пожал плечами. – Мне сообщили, что родители умерли. Поэтому сюда приехал, но пока не решил, насовсем вернулся или нет. Душа изболелась. Хотел на родной дом взглянуть. Посидеть, подумать. Отца с матерью проведать, а там уж время покажет, оставаться или уезжать, – и взглянул на нее. – Вот смотрю на тебя и не могу вспомнить. Что-то знакомое мелькает в голове, а не признаю. Столько лет прошло. Ты уж прости меня, непутевого...

Старик, до этого стоявший молча, захекал, поглядывая на сконфуженного Акима, хотел было что-то сказать, но осекся, наткнувшись на хмурый взгляд дочери.

– Да где уж узнаешь, столько лет не виделись, – она невольно отмахнулась, а потом кивнула. – Вон, видишь, дом под березкой стоит? Я – Мария Лопахина, а ты меня Марийкой, да еще своей невестой называл. Помнишь? А однажды целоваться полез на веранде, а я тебе нос расквасила. Кровь как с барана текла. Все полы изгваздал. Неужто забыл? – она засмеялась и рукой ткнула. – А это мой отец – дядька Матвей. Ты же с моим братом был не разлей вода, с Колькой Лопахиным. Помнишь



его?

Взглянула на него, засмеялась, а потом осеклась и потупилась. И принялась ковырять ногой, обутой в глубокую галошу, какой-то корень, вылезший из земли.

Аким вскинулся, услышав про друга детства, а потом невольно ухватился за нос, где был небольшой узкий шрам и усмехнулся.

– Марийка – это ты?! А я частенько вспоминал тебя. Ты такой стала, что сразу и не признаешь. Ох, как ты расцвела! Частенько вспоминал, как хотел поцеловать тебя. Вот и метка осталась, – он снова дотронулся до носа. – Вот так расцеловала меня! Чуть нос набок не свернула. И Кольку помню. Что с ним только не вытворяли! Шустрый пацан! А где он сейчас? В деревне живет или в город перебрался? Посидеть бы с ним, прошлое повспоминать...

И задумчиво улыбнулся, вспоминая друга.

– Убили Кольку, – нахмурившись, сказала она. – По пьяной лавочке зарезали. За длинным рублем поехал, а там с компанией связался. Ну и того... В общем, там схоронили...

И замолчала, продолжая ковырять землю.

– Извини, Марийка, не знал! Я же, как уехал, так и пропал на двадцать с лишним лет. Ничего не знаю. А сегодня вернулся. Иду по дороге, а сам боюсь, что мимо родного дома проскочу. Изменилась деревня. Вроде, небольшой была, а сейчас разрослась, что ли... А ты, Марийка, разве в деревне осталась? – помолчав, сказал Аким. – А где работаешь? Я думал, ты уехала, а спросить не у кого было.

– Да, уезжала в город, – вздохнув, сказала Мария. – Тетка к себе позвала. Одна жила. Скучно. Мать уговорила меня. Всё веселее тетке. И отвезла в город. Там школу закончила. Пошла в училище. На последнем курсе выскочила замуж. Детишки-погодки родились. Не успели подрасти, осталась одна. Пришлось самой поднимать их. Не заметила, как вымахали и выпорхнули их гнезда. Одна осталась. Сюда вернулась. Отец старенький, да и баловать начал. К рюмке стал прикладываться. Ну и того... Воспитываю помаленьку... – и засмеялась, глядя на хмурого старика, потом поправила косынку и неожиданно всплеснула руками. – Ой, что же получается, а? – сказала она. – Стоим, лясы точим, а ты, чать, голодный, да? Айда к нам, Аким! Покормлю с дороги. Посидишь, чуток отдохнешь, а там уж своими делами займешься. А ежли хочешь, мы поможем или помощь соберем. Одному-то тяжело справляться...

– Я не нищий и по чужим дворам куски не собираю, – неожиданно взбеленился Аким и похлопал по карману. – У меня есть деньги, а мало будет, лучше магазин очищу, но просить ни у кого не стану. Не приучен. Тебе понятно?

– Ишь ты, гусь выискался, – закачала головой Мария, уперев руки в бока. – Ты, Акимка, свои привычки брось. Ты не в тюрьме сидишь, а в родную деревню вернулся. И если тебе предлагают кусок хлеба – это от души идет, а не нищему подают, как ты говоришь. Но даже нищему дают от души, – и опять повторила: – Ишь ты, гусь лапчатый...

– Ты слухай Маньку, слухай, – заторопился старичок, а потом взглянул на дочь. – Истину гришь, дочка, от души. Айда, Акимка, супчику похлебаем. Глядишь, Манька по рюмашке нальет. Приезд отметим...

– Я тебе налью, – погрозила Мария. – Не успею оглянуться, он умызнет со двора, а обратно на бровях ползет. И где находит – не понимаю. Ишь, набаловался, пока меня не было! Ничего, я тебя приструню, – и тут же повернулась к Акиму и дернула за рукав. – Что стоишь, как столб? Живо шагай за мной! Что за времена пошли, мужиков нужно уговаривать. Не бойсь, Акимушка, целоваться не полезу, но при случае сопатку могу разбить. Кое-какой опыт имеется.

И хохотнула, видать, опять вспомнила, как ему нос расквасила, и, не оглядываясь, поправляя на ходу косынку, направилась к своему дому.

Старик, бормоча под нос, засеменял следом.

Аким усмехнулся. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали, тем более, баба. Будь кто другой на её месте, он быстро бы взбеленился и еще неизвестно, чем бы закончился такой разговор, а сейчас Аким промолчал. Удивляясь самому себе, он закурил и неспешно пошел за ними.

Он шагал и всё взбрыкивал головой. Посмеивался над собой, а в душе была не радость, а что-то теплое разливалось, что-то такое, чего он давно не испытывал, все эти долгие годы, проведенные в неволе, а здесь, да еще под натиском Марийки, он, привыкший делать все поперек и никому не доверявший, пошел у нее на поводу. И от этого почему-то стало полегче, словно тяжелый груз сдвинулся, освобождая её – душу...

Возле калитки приостановился. Докурил. Поплевал на окурочку, покрутил головой, куда бы бросить и, не найдя, кинул на землю и растер, чтобы какая-нибудь шальная курица не утащила его. Толкнул калитку. Зашел, с любопытством осматриваясь. Во дворе чистота и порядок. На веревке, протянутой поперек двора и подпертой слесей, порывами ветра треплет мокрое белье. Мария стирала. На крыльце – большой таз и в нем какое-то тряпье. Аким мельком глянул. В бане приоткрыта дверь. Видать, стирала, а здесь развешивала. На штaketинах перевернутые банки, бидон и пара галош. Вдоль забора протянулась высокая поленница, сверху прикрытая кусками старого рубероида. Загрелась цепью собака. Заюлила хвостом, сунулась было к Акиму, почуяла чужого и залилась лаем, вздыбив загривок, но отпрянула от грозного хозяйского окрика и снова залезла в будку, свернулась там и, зевая, поглядывала на них.

– Проходи, что застыл? – сказала Мария, скинула галоши и босиком зашлепала по крыльцу. – Нечего стоять. Заходите. Приготовлю на стол и буду кормить.

Сказала и скрылась за дверью.

– Шагай-шагай, Акимка, – нетерпеливо подтолкну в спину старичок. – Сейчас уломаем мою минцанершу, по стопочке нальёт. Эх, знатная самогоночка получилась, а крепкая – страсть! Рюмашку-другую опрокинешь, и душа поёт, – и опять повторил, причмокивая: – Эх, крепка, зараза!

Он зажмурился от удовольствия, покачал головой, скинул галоши и, не удержавшись, шмыгнул в дом, не дожидаясь Акима.

Аким пристроился возле окна, когда позвали к столу. В животе заурчало, когда увидел полные тарелки с простым вермишелевым супом, крупно нарезанные пожелтевшие огурцы, а в другой тарелке горка спелых помидор, с десяток яиц, сваренных вкрутую, большие ломти хлеба, прямо на клеенке пучок зеленого лука и большая солонка с серою солью. На столе еще что-то было, но Аким отвел взгляд и сделал равнодушное лицо. Ни к чему показывать, что голоден. Мария нахмурилась, но все же достала бутылку. Дед причмокнул и довольно потер ладони. Она поставила три граненые стопки, налила и пододвинула. Аким мотнул головой, стопку отставил в сторону.

– Ты что энто, Акимка, хвораешь, что ли? – сказал старик, с удивлением взглянув на него, а потом покосился на дочку, которая возилась возле печи и прошептал: – А что тогда не употребляешь? Ты не отнекивайся, а то Манька больше не нальет.

И тут же замолчал, когда Мария повернулась к нему.

– Ну-ка, шептун, прекращай, – она погрозила пальцем. – А ты, Аким, что отдвигаешь? Выпей с устатку, да за ложку берись. Чать, уж забыл вкус домашней еды.

– Нет, пить не буду, – мотнул головой Аким. – Не хочу. Вся беда через эту водку. Хорошего мало от неё, а беды много приносит. У меня вся жизнь пошла наперекосяк, – и опять сказал: – Не приставайте!

– Правду говоришь, – закивала головой Мария, покрутила стопку в руке и отставила в сторону. – Тогда и я не буду. Хотела за встречу, ну да ладно, обойдусь. И правда, много беды через эту дрянь. Мой мужик сгорел из-за проклятухой водки.

Допился. А теперь еще и отец стал заглядывать в рюмку. У, я тебе покажу!

Она нахмурилась и погрозила пальцем.

Как ни был голоден Аким, но торопиться не стал. Медлительно взял ложку, зачерпнул немного, чуточку попробовал, а у самого в животе заурчало от голода и хотелось наброситься на еду и хватать всё подряд и есть, есть и есть, но нельзя... Нельзя показывать, что ты голодный. Не так поймут. И ему приходилось сдерживать себя, чтобы не схватить тот или иной кусок. Он ел медленно, не поднимая глаз. Чувствовал, что Мария сидит и за ним наблюдает. Редкий раз спросит что-нибудь и снова умолкает. Это понравилось Акиму. Она не лезла в душу, не совалась с расспросами. И правильно делала. И он молчал. Даже если бы его спросили, он не знал, с чего начинать разговоры разговаривать. Отвык за эти годы. Лишь старый Матвей не мог усидеть спокойно. Ерзал на табуретке, выпрашивал стопочку, обижался, что ему не наливали, умолкал, а потом снова принимался говорить. И всё пытался растеребить Акима, то в бок ширял, то за плечо трепал, но бесполезно. Аким отодвинул от себя тарелку, отложил ложку и сидел, молчком поглядывая в окно. Задумался...

– Ну, дочка, к чаю плесни чуток, – так, словно невзначай, сказал старый Матвей. – А потом чаёк пошвыркаем.

– Обойдешься, – сказала, как отрезала Мария. – Сейчас наклюкаешься, а потом будешь охать и животом маяться...

Старик запыхтел. Обиделся. Сидел в углу, косился на дочку, которая убирала посуду со стола, и ворчал под нос. Потом поднялся. Похлопал по карманам, достал курево, хотел было закурить, но наткнувшись на строгий взгляд дочери, поспешил к двери.

– Айда, Акимка, подымим, – сказал он, нахлобучил фуражку на глаза и вышел, буркнув: – У моей Маньки зимой снега не выпросишь, не то, что стопочку. Даже курить в избе запретила. Минцанер, как есть минцанер! Вот уж уродилась, червоточина...

– Аким, покури с дедом, – сказала Мария, загремев посудой в тазике. – Всё веселее вдвоем-то. Ты не обращай внимания, что ворчу на него. Я же не со зла. Разбаловался он, когда один остался, а тут еще сына убили. А жалельщиков много нашлось. Здесь налили, там поднесли и всё – сорвался. А много ль ему нужно? Стопку-другую опрокинет и – ищи-свищи его по деревне. Летом ладно, можно под любым кустом проспаться, а зимой недолго и замерзнуть. Вот и приходится его в ежовых рукавицах держать. А кто будет держать, если не я? Так и воюю с ним. Ничего, всё на пользу делается. Ну, иди, покури. Чать, ждет тебя. Сейчас жаловаться начнет. Эх, мужики! С виду крепкие, а ломаются быстро.

Она беззлобно хохотнула и опять загромычала посудой.

Аким вышел. Уселся на ступеньку, закурил и задумался, поглядывая по сторонам. Рядом примостился дядька Матвей. Курил, о чем-то рассказывал, что-то спрашивал, но Аким много не разговаривал. Просто сидел, смотрел на деревню, прислушивался к шуму, и на душе становилось теплее. Исчезал груз, который носил долгие годы. Казалось, даже дышать стало полегче. И не нужно было озираться, не нужно ждать, что произойдет что-то плохое и его снова сорвет с места и закуролет-понесет куда-нибудь, а в конце пути опять будут ждать тюремные нары. А сейчас он просто сидел на крыльце и радовался ей – этой самой жизни, радовался старому Матвею, который пристал как банный лист и все тормошил его, о чем-то рассказывая, но еще больше радовался Марийке, а почему – этого не мог объяснить. А потом он поднялся, осматривая ухоженный двор, и повернулся к старику.

– Дядька Матвей, дай лопату, – прищурившись, Аким взглянул на солнце. – Весь двор сорняками заволокло. Репейник разросся, что косой не возьмешь. Будылья в руку толщиной, — и опять повторил: – Дай лопату. Потом верну. Сейчас пойду, порядок наведу.

– Дать-то можно, но затупишь, а точить мне придется, а вдруг еще черен сломашь? – протянул старый Матвей. – А кто за работу заплатит? Ну, ежели в магазин сбегаешь, пузырек винца притащишь, так и быть, сговоримся...

И причмокнул, хитро взглянув на Акима.

– Я те дам – магазин! – повысила голос Мария, появившись на крыльце. – Ишь, чего удумал, старый пень! Не успел человек вернуться в родной дом, а у него бутылку выпрашивают. Совесть поимей, старый! Живо взял лопату, собрал инструменты и шагай на помощь. Делом займись, а не рюмки собирай! – и повернулась к Акиму. – А ты не вздумай на поводу идти у старого. Иначе оба по шеям получите! – помолчала, а потом сказала: – Вижу, решил остаться, да? Молодец, Аким! Правильно делаешь. Работа всегда найдется, было бы желание.

– Пока не знаю, – задумчиво проговорил Аким. – Пока не решил. И хочется остаться и мысли всякие одолевают. Больше вопросов, чем ответов. У меня была своя жизнь, а у вас другая она. Пока проживу, с людьми поговорю, посмотрю, как меня примут, а потом уж буду решать, оставаться или нет. А пока не знаю...

Сказал и развел руками.

До вечера работал Аким, вырубая сорняки. Дед Матвей потихонечку перетаскивал их за баню, укладывая в одну огромную кучу. Аким редкий раз курил, о чем-то думал, смотрел на старика, но будто не видел его. Снова брался за инструменты и продолжал работать. Двор становился как бы обширнее, что ли, но в то же время в глаза еще больше стала бросаться запущенность. Видно было, что здесь долгое время никто не жил.

Смеркалось, когда Аким приставил лопату к забору, присел на ступеньку и устало вздохнул, рассматривая кровавые мозоли на руках.

– Умотался, Акимка? – мелко засмеялся старый Матвей и рядом пристроился. – А мы, представь, всю жизньюшку работаем. Не успеет человек на свет божий появиться, для него инструмент готовят. Каждому свой достается. Ага... Мне молоток перепал. Сейчас расскажу... – он призадумался, а потом сказал: – Помню, батька что-то мастерил на крыльце, а я, бесштанная команда, рядом крутился. Гляжу, он куда-то ушел, а молоток на ступеньке оставил. Я решил помочь ему. Схватил, посильнее размахнулся да как вдарил! Метился по гвоздю, а попал по руке. У меня сразу пальцы в растопырку стали, а ногти во все стороны разлетелись, как пули засвистели. Ей-богу, не вру! Глянь, Акимка...

И сунул ему чуть ли не в лицо шишкастые пальцы с корявыми ногтями.

– Ну что ты брешешь, старый? – заскрипела калитка, и во дворе появилась принаряженная Мария в простеньком, но чистом платье, серенькая кофта на плечах и яркая косынка на голове. – Ты, Аким, не слушай старого. Сбрешет и глазом не моргнет. Ногти, как пули просвистели... – она передразнила отца. – С такими ногтями можно по скалам карабкаться или в каменоломне работать, и кирка не потребуется, а еще можно землю копать, и лопата не понадобится.

Сказала, нахмурилась, а потом не выдержала и звонко расхохоталась.

Аким взглянул на пыхтевшего Матвея, который сразу же спрятал руки за спину, на смеющуюся Марию и тоже не удержался, вслед за ней засмеялся. Сначала неуверенно, а потом всё громче и громче.

– Уморили, – затряс головой Аким. – Я уж забыл, когда в последний раз так смеялся. Аж скулы свело.

И опять захохотал.

И старик, с обидой глядевший на них, неожиданно хлопнул себя по худым коленям и тоненько залился.

– Эть, ну не дочка, а минцанер настоящий, – говорил он и снова начинал смеяться. – Эть, что за язык-то? Боженька семерым нес, а ей достался.

– Вижу, не языками мололи, а работали, – вытирая слезы, сказала Мария, кивая

на пустой двор. – Вон сколько всякого хлама перетаскали. Молодцы, мужики!

– Мужики в поле пашут... – вскинулся было Аким и запнулся. – Ладно, проехали... Здесь, Марийка, с утра и до вечера нужно пахать, чтобы двор в надлежащий вид привести. Слишком запущен.

– Сделаешь помаленьку, а мы поможем, – сказала Мария. – Москва не сразу строилась. Вон, батю моего будешь на помощь звать. Я подойду, если будет надобность. А уж на большую работу соберем помощь. Никто не откажет. Все придут. У нас принято помогать соседям, – и еще раз осмотрела двор. – Ладно, давайте-ка закругляйтесь с работой. Вечерять пора.

– А стопку нальешь? Умотал меня Акимка, аж руки-ноги трясутся. Не человек, а самый что ни на есть трактор, – запнулся, а потом повторил старый Матвей. – Стопочку-то нальешь, Мань? Ведь с устатку даже царь пил...

– Вот станешь царем, тогда налью, – усмехнувшись, сказала Мария.

– Ты глянь на нее, Акимка, – тыча корявым пальцем, стал жаловаться старый Матвей. – Говорю же, она минцанер, а не человек. Тут у людей руки-ноги трясутся от усталости, и силы не осталось вздохнуть лишний раз, а она стопку пожалела. Ты, Манька, поглянь, что у него с руками. Нет, ты поглянь! Вишь какие мозолищи набил. Прямо ужас, да и только! Нужно сделать эту... как её... – старик стащил фуражку, почесал морщинистый лоб, вспоминая, а потом обрадованно: – Во, вспомнил, – дефекцию сделать, как снаружи, так и изнутри, чтобы всякую микробу с организма изгнать.

– Ишь, лекарь выискался, – заворчала Мария. – Сама знаю, когда наливать. И не приставай, сказала!

Аким сидел на крыльце. Слушал, как переругивалась Мария с отцом, прислушивался к тишине, смотрел на яркое закатное небо, солнце где-то за горой, но лучи окрашивают облака и от этого они словно нарисованные. Он смотрел по сторонам и в то же время заглядывал в свою душу, где не было ярких пятен и светлых полос, а были черные полосы, тьма и боль, от которой не избавиться...

Рядом присела Мария. Он искоса взглянул на нее. Сроду бы не узнал, столкнись где-нибудь в другом месте. Сильно изменилась! Была пичужкой. Маленькая, голенастая, платье застиранное, косички в разные стороны, за которые ему нравилось дергать, когда приходил к другу. А она визжала, нарочито хмурилась, грозила кулачком, но проходило несколько минут, и она уже всё забывала и снова начинала приставать к нему с какими-нибудь вопросами. А потом стала расцветать. И так, что у него аж сердце стучало, когда с ней сталкивался. И однажды не выдержал. Столкнувшись с ней на веранде, хотел было поцеловать. Сунулся к ней. Ткнулся куда-то в щеку, что ли, а она отшатнулась и как вlepила по носу, а в руке была зажата кружка, у него кровь во все стороны брызнула, так умудрилась рассечь переносицу. Метка осталась. Наверное, чтобы про неё не забывал...

Он вздохнул, вспоминая далекое детство. Столь далекое, что казалось, будто всё это придуманное. У него вся жизнь разделилась на две части. В первой были школа и училище, работа и семья, были живы родители и ничего, как казалось, не предвещало беды. И всего лишь небольшой шаг в сторону, одно неосторожное движение – и покатился под откос. Вся его мозаика жизни превратилась в черно-белую, где черного цвета было куда больше, чем белого, а про цветные и говорить нечего, и будет ли просвет впереди, получится ли найти правильную дорогу – он не знал...

Да, годы, проведенные за колючей проволокой, можно выбрасывать из жизни, но в то же время он был старше других на целую жизнь. Ту самую, которую он провёл в лагерях. В обычной всё расписано на многие годы вперед. Если сам не сделаешь ошибку, за которую придется расплачиваться годами свободы, ты можешь до старости дожить и не испытать того, что выпало на его долю. А если шагнешь в сторону, тогда можно ставить крест как на прежней, так и на будущей жизни, потому что у тебя начнется другая – тюремная, зоновская, где живут по другим законам, кото-

рые нужно соблюдать. И к концу срока ты уже смотришь на простую жизнь иным взглядом, понимая, что туда дороги не будет. Кто перешагнул черту, тот обратно почти никогда не возвращается...

– Что задумался? – Мария толкнула в бок. – Сидишь, уставился в одну точку и не слышишь. Зову, зову, а он не шелохнется. Чать, устал, с непривычки-то? – сказала она участливо.

– Я работы не боюсь, – запнувшись, сказал Аким. – Наоборот, она отвлекает. Весь день лопатой махал, и прошлая жизнь вспоминалась: как картошку сажали, как выкапывали, как с батей наперегонки огород вскапывали, как тебя... – он запнулся и покосился на нее. – Да много чего вспоминалось. Душу разбередил, – сказал и вздохнул. – Ты бы, Марийка, про себя рассказала. Я же ничего не знаю.

Мария вздохнула, искоса глянув на него.

– У меня сын и дочка, – стала рассказывать Мария. – Уже взрослые. Муж рано помер, самой пришлось ставить детей на ноги. Сын стал военным. Серьезный – страсть! А дочка ласковая. Вот замуж вышла. Рано выскочила, но я не ругаюсь, сама такой была. Первое время по квартирам скитались. Своего угла не было. Тяжело приходилось. Я уж помогала, чем могла, а потом решила вернуться в деревню. Что одной-то делать в трех комнатах? Дочка хотела, чтобы с ними жила, а я наотрез отказалась. Два медведя в одной берлоге не уживаются. А тут еще отец стал баловать. Уж здоровья-то не осталось, а он к рюмке пристрастился. Я посидела, подумала, а потом решила. Взяла и отдала квартиру дочке. Что ей с семьей скитаться по чужим углам-то? Отдала, а сама в деревню уехала. И ты знаешь, Акимушка, словно камень с души упал, когда вернулась. Наверное, вот этого мне и не хватало, – она обвела рукой окоём. – Этой деревенской неторопливой жизни с её природой, с её жителями, да со всем, что меня окружает!

И опять обвела окоём рукой, показывая, а потом замолчала и задумалась, поглядывая в сиреневые сумерки уходящего дня.

Старый Матвей подхватился, тихонечко вышел за калитку и куда-то поспешил, постоянно оглядываясь на дочь.

Аким продолжал сидеть. Курил. Поглядывал на деревню, думал про Марию, что она говорила, и вспоминал свою жизнь.

– Да, Марийка, я тоже по-всякому кручу свою жизнь, – задумчиво сказал он. – Как мозаику укладываю. В молодости рассыпал её, эту мозаику жизни, и до сих пор не могу собрать. И так гляну, и отсюда посмотрю, здесь примерю, а деталька не подходит, в другое место приткну её, а там бы взять и выкинуть, да не получается – рисунок испорчу. Забыть не получается, а хотелось бы. Очень хочу выбросить из нее всё ненужное и начать бы с чистого листа, да, видать, поздно. Вся мозаика жизни распылится, а получится ли заново собрать – не знаю. Наверное, время моё ушло...

Плечи поникли. Достал сигареты и закурил.

– Аким, а за что ты сидел? – наконец-то спросила Мария. – В деревне разное болтали. Столько наприписывали, что не разгребешь. Чуть ли не в главные убийцы записали тебя. Что ты в зверя превратился. Одних режешь, других калечишь... А я вот сижу рядышком, гляжу на тебя и не вижу никакого зверя, а вижу уставшего человека, у которого душа болит, грузом тяжелым к земле прижимает, а он сопротивляется, всё пытается выпрямиться, чтобы остаться человеком, а не в зверя превратиться. Вот кого я вижу...

– Правду говоришь, устал я, – вздохнув, после долго молчания сказал Аким. – Видать, ноша стала тяжелой, пора бы остановиться. Постараться скинуть этот груз да вздохнуть посвободнее, но не знаю, получится ли... – он взглянул на нее. – За что сидел, говоришь? За дурость свою попадал. А где первый раз попал, там и второй срок дожидается, и третий, и... И начинается бег по кругу: вышел, натворил, арестовали, суд, срок припаяли, отмотал его и снова на следующий круг выходишь. И так

пока не запнешься, пока не затопчут тебя или не сожрут такие же волки, с которыми сидишь, в кого сам превращаешься. И вырваться из этого круга сложно. Почти невозможно, потому что на всех людей, на всё, что тебя окружает, начинаешь смотреть другим взглядом, и на жизнь – тоже...

– А всё же, за что сидел? – не удержавшись, перебила Мария. – А то говоришь, и не понимаю тебя. Слова какие-то находишь. Простые слова, а смысл не могу уловить. Не иначе, в философа превратился, пока там был...

– Первый раз попал за драку, – привалившись к перилам, сказал Аким. – Я же по дурусти женился. Мои сверстники давно переженились, у всех детишки бегают, а я еще гулял. Потом познакомился с одной, вроде, ничего девка, решили расписаться. Думал, что это легко – иметь семью. Никуда бегать не нужно, баба дожидается. А сам еще не нагулялся. Ладно, детей не было. Жена дома, а я подхватился и умчался с дружками. Они, эти друзья, для меня были дороже, чем семья. Однажды пришли в парк. Выпили, как всегда, и подались на танцплощадку. Всё было нормально, потом дружки с кем-то сцепились. Драка началась. А я в стороне стоял. Даже не успел подойти, гляжу, мне под ноги нож упал. Из толпы кинули его, когда парня пырнули. Я этот ножик поднял, лишь потом заметил, что он в крови был. Хотел его за забор выбросить, но тут милиция подросла. И меня, тепленького, да с этим ножом сразу задержали. Все дружки дали показания, что это был мой нож. Отпечатки мои, и задержали с ним же. Всё было против меня, тем более, что парня еле спасли. Инвалидом остался. Я получил большой срок. Дружки всю вину на меня свалили, и мне пришлось за них отдуваться. Они ни разу не приехали. Ничем не помогли, пока сидел. Всё планы строил и ждал, что выйду, с ними разберусь. За каждый год, за каждый день, проведенный за колючей проволокой, с них спрошу. За всё ответят, сволочи! – он нахмурился и заскрипел зубами: протяжно, громко – больно, а потом вздрогнул, покосившись на Марию, и продолжил: – Так и сделал. Вышел и сразу к ним отправился. Даже домой не заехал. К одному сунулся – никого, к другому – никто дверь не открыл, я к третьему, а там пьянка-гулянка, дым коромыслом. Мне сразу стакан сунули, едва в квартиру зашел. Ну, решил, была, не была, выпью для храбрости! За ним еще один стакан наливают. А дальше как в тумане было. Помню, с кем-то ругался, всё пытался подняться и не получалось. Снова стакан сунули. Выпил. И отрубился. А что было, потом узнал. Очнулся в милиции. Сказали, что драку устроил. Я на ногах не стоял, до такой степени был пьянющий, а мне драку приписали, потому что нашлись свидетели, которые будто бы видели, что я мебель крушил в квартире, что гонялся за всеми и грозился кишки выпустить. Кого-то с балкона выкинул, тот сотрясение мозга получил и руки-ноги переломал. Может, сам пьяный вывалился, а на меня свалили. Не знаю... Скорая приехала, а за ними и милиция подросла. В общем, я мимо дома, и сразу под следствие угодил, потом суд и снова зона, но уже срок поболее заработал. И третий срок по дурусти получил. Я же собирался домой уехать, когда освободился. Решил, что завяжу. Пора за ум братья. Тем более, родители ждали. На вокзал отправился. По дороге в магазин сунулся, чтобы какую-нибудь еду в дорогу купить и куревом запастись. Стою возле прилавка. Подходит парень. Хотел похмелиться, а денег не хватало. Я добавил. Он передал деньги знакомому в очереди. Отдал и вышел. Я купил продукты, курево и следом выхожу, а он на лавке сидит. Я присел рядышком. Закурил. Сидим, разговариваем. Думаю, сейчас на вокзал пойду. Докурю и уйду. Не успел. Из магазина появился его знакомый, кому деньги отдали, и сразу шмыгнул за магазин. Видать, один собрался выпить. Парень за ним помчался, а меня чёрт дернул следом пойти. Парень, что был со мной, отнял у него бутылку, мелочь из кармана выгреб, да еще морду набил, а тут милиция из-за угла появляется. Парень сбежал, а я остался. Понадеялся, что трезвый. Ничего не будет. Я же домой собирался. У пьяного спросили, кто отнимал, кто бил, тот на меня показал. Меня под руки и в камеру. О, как! Ограбление да еще драку приписали, хотя я пальцем никого

не тронул, но меня слушать не стали. Накрутили по полной. И прямая дорога снова на зону. Вот так получилось, что из-за пьянки трижды угодил на зону. Столько лет коту под хвост. Отсидел, и сам не знаю, за что. Нет, знаю – за пьянку. С нее всё началось...

И замолчал, прислушиваясь к вечерним звукам. И Мария долго молчала. О чем-то думала, качала головой и всплескивала руками, смотрела на Акима, видать, что-то хотела спросить, но не решалась и снова задумывалась.

– Ну, а сейчас чем займешься? – наконец сказала Мария. – Здесь останешься или к друзьям вернешься?

– Не знаю, – Аким пожал плечами. – Пока не решил. Конечно, можно к друзьям уехать. Звали они. Говорили, что без дела не останусь. А что потом? – он взглянул на Марию. – Опять на нары отправляться? За всё хорошее нужно платить, и платой станут годы жизни. И снова всё вернется на круги своя. Свобода, пьянки, дела-делишки, арест, суд, срок и – на зону, а потом опять на волю... И вся жизнь по кругу. Я досиживал срок и что-то стал задумываться, а нужна ли мне такая жизнь? – он покосился на Марию. – Я видел сидельцев, которые всю жизнь провели в лагерях. А на волю выходили, чтобы снова вернуться, где их знают, где они знали всех – это и есть родной дом для них – зона, а вот от этой жизни они отвыкли, – он обвел рукой. – Настолько отвыкли, что не могут найти себя в ней. Им легче было на зоне жить, чем на свободе. И они уходили снова туда, потому что привыкли. И я свыкся за эти годы, и эту жизнь еще не знаю, потому что забыл, какая она бывает – эта свобода. Отвык от всего, что меня окружает. Хотелось бы вернуться сюда, а получится ли – еще не знаю, потому что для этого нужно время, а его, как всегда, не хватает.

И замолчал. Достал сигареты и задымил: быстро, коротко – зло.

– Время лечит, – вздохнула Мария. – Всё зависит от человека. Если он хочет вернуться к нормальной жизни – он сделает это. Одни раньше, а другие позже, но вернуться. А если не хочет, его ничем не заставишь, – а потом неожиданно погладила Акима по короткому ежику волос и добавила: – У тебя, Акимушка, душа болит, тяжелый груз лежит на ней, поэтому и мечешься, всё не можешь найти дорогу домой, а точнее – дорогу к себе.

А потом поднялась. Осмотрелась. Нахмурилась, не увидев своего отца. Постояла и потрепала Акима за плечо.

– Поднимайся, – сказала она. – Пошли к нам. Я баньку протопила. Пока разговаривали, она уж остыть успела. Но ничего. С отцом помоетесь. А потом ужинать будем, – и, заметив недоуменный взгляд Акима, добавила: – Не сердчай, Акимушка. Ты не с протянутой рукой стоишь, а домой приехал. Возвращайся к людям и выкладывай свою мозаику жизни, – она повторила его слова. – А с твоей большой душой мы еще разберемся. Найдем время для этого, найдем.

Сказала и направилась к калитке.

Аким поднялся. Постоял. Оглянулся, как будто в прошлое бросил взгляд. Потом посмотрел вслед Марии, словно хотел разглядеть, что ждет его в будущем и растерялся, задумавшись, где же она, его жизнь, – эта яркая, цветная мозаика, которой так ему не хватало, а не черно-белые полосы, что сопровождали его долгие годы, где черного цвета было куда больше, а про яркие пятна и говорить нечего. Долго стоял, а потом не удержался и, с каждым шагом, всё крепче ступая, зашагал вслед за Марией, надеясь, что выбрал правильную дорогу...

## **Клоп**

– Эй, прохожий, – донёсся голос, и Семён увидел, как из распахнутых ворот, где во дворе вовсю играла гармошка, раздавались частушки и визгливый женский смех, к нему торопилась женщина, одетая в ярко-цветастое платье и держала в руках бу-



тылку с мутной жидкостью и гранёный стакан. – Слышь, подожди! Выпей за молодых. У нас радость большая. Наш Вовка женился. Добрую девку в дом привёл. Выпей...

– Некогда, – буркнул Семён, быстрее засеменял по раскисшей дороге и тихо пробормотал: – Не хватало, чтобы я всякую дрянь пил. Обойдётся...

– Подожди, – опять крикнула женщина. – За молодую семью не выпить – это грех. Не беги, сейчас... – приостановившись, стала наливать в стакан.

– Отстаньте! – Семён повысил голос и перешёл на другую сторону дороги. – Ишь, разгулялись...

– Николавна, куда побежала? – кто-то забасил на всю улицу. – Вертайся, нечего за всяким носиться.

– Дык, Валерка, угостить же хотела его, – женщина посмотрела на наполненный стакан. – Чтобы за молодых рюмашечку тяпнул, а он помчался, как от прокажённой. Видать, начальство прикатило. В шляпе, с портфелем, – сделав ударение на первом слогe, она принялась медленно сливать самогонку в бутылку.

– Да наплевать на него! – опять раздался бас. – Вертайся, гости ждут. Глянь, что отчебучивает твой Васька. Эть, наяривает! Кум, погодь-ка... Эх-ма, эх-ма! – гулко хлопнув в ладони, Валерка затараторил похабную частушку, пошёл ко двору вприсядку, на ходу теряя галоши, пачкая брюки и колени, и заплясал перед гармонистом.

Оскальзываясь и чертыхаясь, Семён с сожалением посматривал на новенькие импортные туфли, сплошь покрытые грязью, думая, что зря надел в такую непогодь – развалятся. Заметив пожелтую траву на обочине, свернул, на ходу топая ногами и глядел, как отваливались комья грязи с обуви. Осторожно ступая, он направился вдоль дороги, осматриваясь по сторонам. Повсюду тянулись почерневшие заборы, многометровые поленницы, прикрытые дырявым рубероидом. Светлыми латками выделялись новые листы шифера на старых крышах. В палисадниках разрослась бузина, да изредка виделись яблоньки. Тянуло дымком из труб и, как казалось Семёну, ещё больше воняло навозом, который горками виднелся там и сям на огородах, и его запах словно заполонил всю округу, заставляя пощёриваться, откашливаться и смачно плевать под ноги в грязную жижу, перемешанную с соломой, с мусором и всякой мелочёвкой, которая годами копится на деревенских улочках, постепенно вращая в землю.

Остановившись возле старого забора, Семён ухватился за мокрую прогнившую штакетину. Морщась, наклонился и начал щепкой счищать прилипшую грязь. Пошаркал подошвами по траве. Сорвал пук польни, поелозил по туфлям и опять ругнулся, что решил надеть новенькую обувь в осеннюю слякоть. Перед кем хвалиться-то в деревне, где уж много лет не был. А сейчас, когда мать похоронят, и вовсе забудет сюда дорогу. Отвык от деревни. Отвык от грязи и нищеты, откуда он вырвался и сбежал в город. Там устроился на непыльную работу. Потом удачно женился на дочке директора маленького кирзавода, но у которого были большущие связи и нужные люди везде, даже в министерствах, так с придыханием, напоминая постоянно, шептал тестюшка, закатывал глаза и многозначительно показывал пальцем-сосиской на потолок. Удачно женился... Может, женили, лишь бы выдать замуж единственную дочку, засидевшуюся в невестах, на которую и взглянуть-то было страшно из-за её необъятной фигуры и огромного роста. Семён встретился с ней на вечеринке. Знакомый пригласил его, обещая веселый вечер. И когда он пришёл с бутылкой дешёвого вина, тот показал на высоченную и толстую девушку и тихонечко сказал, что это директорская дочь, панибратски приобнял Семёна, хохотнул и шёпотом попросил, чтобы её, страшилку, поразвлекал. Оробев, Семён присел на краешек стула, но после нескольких рюмочек осмелел и начал с ней разговаривать о всяко-разных пустяках. Он горделиво посматривал по сторонам – заметили присутствующие или нет, что директорская дочка, Варвара, обратила на него, малорослого и невзрачного, внимание. Говорил с ней, смеялся по поводу и без повода, стараясь по-

казаться весельчаком, парнем-рубахой, затем проводил до дома. В кино пригласил. Она не отказалась. Несколько вечеров по улицам гуляли, а потом она к себе позвала. Там, словно невзначай, в полутьме прижался к ней, норовя обнять за талию, но распахнулась дверь, и на пороге увидел разъяренного отца, который закричал, ногами затопал, будто Семён покусился на невинность его единственной доченьки, маленькой Вареньки, и ему придётся отвечать по всей строгости закона или жениться, как сделал бы настоящий мужчина. Семён выбрал второе. Свадьба, где он напился до поросячьего визга, потом медовый месяц на море, где он пил беспробудно с радости или с горя, кто его знает, и, вернувшись, сразу попал в цепкие руки новоиспеченных родственников.

«С лица воду не пить», – так говорила дородная тёща, намекая на доченьку, а может, и на него, и тут же упрекала, что его, босоту, приняли в приличный дом, к приличным людям, и он до гробовой доски должен почитать их за доброту, за то, что как сыр в масле катается. Да, Семёну приходилось почитать и выполнять всё, что скамандуют тесть с тещей, лишь бы кататься в масле. Вот и жил в достатке: имел несколько сберкнижек на предьявителя, хорошенькая стопочка наличных радовала глаз; машину, которую тестюшка подарил и оформил на него вместе с небольшой дачкой – двухэтажным домиком-теремком – это рабочие тестя построили и ещё баньку срубили с гостиной и бассейном, да трёхкомнатную квартиру – тещенька постаралась, выбила в центре города да в престижном районе – обставленную по последнему писку моды дорогущей мебелью, кухонными шкафчиками и шкапами с обеденными да чайными сервизами, стены увешаны коврами, картинами, на полу расстелены ковры, всякие дорожки, и в каждом углу стояли разнокалиберные фарфоровые вазы – этим уж супруга занималась, ежедневно мотаясь по городу на машине и заходя, как к себе домой, к директорам магазинов, рынков, продуктовых да промтоварных баз. А Семён... Семён приходил домой. Надевал длинный халат. Включал импортный телек. Пинком отгонял очень породистую, но бестолковую собачонку, Матильдушку, за неё супруга отдала громадные деньги. За шкирку скидывал толстого откормленного кота и, развалившись в кресле или на диване, весь вечер таратился в телевизор и попивал дорогущий коньячок, пока жены не было дома, что частенько случалось. Ну, а когда она возвращалась, к ним приходили гости – «нужные люди», как говаривал тесть, или сами к кому-нибудь шли, держа под мышками свёртки с дефицитными товарами, в сумках – коробочки с дорогими конфетами, а бывало, что и с драгоценностями – подношения «нужным людям». «Не подмажешь, не поедешь» – всегда напоминал дорогой тестюшка...

– Неужели Семка прикатил? – вздрогнув, Семён услышал громкий хриплый голос и, оглянувшись, увидел, что, привалившись к забору, стоял мужичок, одетый в рваную фуфайку, растоптанные кирзачи и, щерясь в беззубой ухмылке, поглядывал на него из-под козырька старой фуражки. – А здесь тебя заждались. Думали, вчера прикатишь и, как принято, последнюю ночь возле гроба посидишь, а ты не появился. Чать, супружница не отпускала, да? – и, достав из-за пазухи противогазную сумку, из которой высыпалась горстка гороха, повесил на столбик.

Семён взглянул на знакомо-незнакомое лицо и не мог вспомнить, что это за мужик. Брезгливо оглядев рваную, засаленную одежду, он поморщился и, передразнивая, буркнул:

– Дык не в соседней деревне живу-то, а в большом городе, – съехидничал он, бросил польнь под ноги и, прикрываясь воротником плаща от холодных горстей дождя, стал медленно выбираться на тропку, прислушиваясь к разноголосому гавканью собак во дворах. – Успею посидеть. Ничего с матерью не случится. Полежит... А вы, как вижу, так и воруете, подлецы. Всю страну растащили. Всё вам мало. Нахаться не можете, жульё!

– Да, крадём, – ершисто крикнул вслед мужик и, размахнувшись, отпнул по-

лынный веник к дороге – машины закатают в грязюку. – И будем тырить. На колхозные трудодни не больно-то разжиреешь, а ребятня каждый день просит жрать. Чать, уж забыл, как сам-то затируху за обе щеки трескал, да щи из крапивы хлебал. А вот за жулика я могу и по зубам врезать, с детства кулаки чешутся. Ты, Сёмка, лучше за своим хвостом следи! – и, заскрипев навесами, громыхнул калиткой, продолжая серdito бубнить под нос.

Хмурая реденькие белёвые бровки, Семён шёпотом матерился, когда ноги разъезжались на скользкой траве, и, прижимая к себе портфель, приостанавливался, осматривая дорогу. Вскоре он добрался до приземистого, покосившегося домика с просевшей крышей, возле которого стояли группками старушки в чёрных платках, мужики с нахмуренными лицами, два паренька рядом с ними крутились и искося поглядывали на него, и на всех были телогрейки – незаменимая одежда сельчан для повседневной носки. «Любимый наряд для колхозничков», – хмыкнул Семен и представил, как бы он смотрелся в рванине в большом городе да перед своей супругой и тестем с тещей. Да уж, сразу бы засмеяли и пинками выгнали на улицу. Каждый сверчок знай свой шесток...

– О, Сёмка, здорово! – послышались голоса. – Семён Иваныч, здравствуйте! – и неловко совали ладони лодочкой.

– Здравствуйте! – буркнул Семён и сделал вид, что не замечает протянутых рук. – Кто занимается похоронами? – и надменно взглянул на односельчан.

– Ваша тётушка, Валентина Петровна, – утирая впавший рот, прошамкала старуха, стоявшая возле калитки, и неожиданно пронзительно запричитала: – Ой, горюшко-то, какое! Одни остались с Санькой. Сиротинушки...

Вздвогнув от визгливого, тоненького голоса, Семён натужно кашлянул, чертыхнулся вполголоса и неловко поправил шляпу, блином расползшуюся из-за дождя. Звякнули бутылки в большом портфеле, который он держал в руке. Распахнув калитку, он торопливо прошмыгнул мимо соседей, медленно прошёлся по захламленному двору, оценивающе оглядел старый дом с подслеповатыми оконцами, размышляя, сколько денег можно за него выручить, поднялся по скрипучим ступеням, толкнул разохшуюся дверь и скрылся на веранде.

– Зазнался Сёмка, как в город сбежал, – погрозив заскорузлым пальцем, простужено забасил крепкий мужик. – Ох, возомнил о себе! А я помню, как лупил его за всякие пакости! Ведь в любую дырку без мыла залезет, от всего отбрешется, других продаст ни за грош, лишь бы самому остаться чистеньким.

– Ванька, ты же завидуешь ему, – пренебрежительно махнула рукой невзрачная женщина. – Сумел человек устроиться в жизни...

– Не устроиться, а пристроиться, – опять громыхнул мужик и, достав измятую пачку папирос, вытряхнул одну и запыхтел, выпуская клубы дыма. – Как сказал, так и есть – пристроился, клоп вонючий! Под тестеву дудку пляшет. Хороводится с теми, от которых можно что-то взять да в карман положить, а на других людей наплевать ему, хоть родная мать будет. Мне-то рассказывали сельчане, кто в городе с ним сталкивался, рассказывали. Поэтому и повторяю, что он – клоп вонючий! – и, грозно сдвинув густые брови, смачно сплюнул и бросил под ноги окурочок.

– Правильно, Сёмка – это настоящий кровосос, – загалдели мужики, поддерживая Ивана. – Ишь, гусь лапчатый! Столько лет не был в родной деревне, а подошёл и даже за руку не поздоровался – гнушается нами, не признаёт. Вон говорили, кто за кирпичом ездил, что ему надо ручку позолотить за каждую подписанную бумажонку, иначе пустым домой вернёшься, без кирпичей. Да уж, хорошее местечко приготовил тесть. Денежки не ручейком, а рекой текут в карманы. Не семья, а вор на воре и вором погоняет. Куда только власть смотрит, не понимаем.

– А что им власть-то? – донеслось со всех сторон. – Они сами – власть. Если скажешь супротив слово, так под статью подведут, и будешь пятилетку делянку кедров

окучивать да баланду жрать.

– Хватит брехать-то понапрасну, – перебивая, разногласно заговорили женщины. – Повезло человеку, что смог в жизни устроиться да жениться на ладной бабе. А вы как были алкашами, так и останетесь. Одно на уме – где бутылку достать, да ещё горазды языками чесать. Пустобрёхи!

– Да, пьём, – исподлобья взглянул Иван и протянул руки. – Взгляни на ладони! Кирза настоящая, а не кожа. Гвозди могу забивать. А если и выпью две-три рюмашки, так с устатку и не более того. Ишь, нашли, чем упрекать мужиков!

– Да я что, – запнувшись, сказала соседка. – Я же просто говорила, что Сёмка ладную жёнку себе нашёл...

– Ха, нашёл, – перебивая, вперед выступил невысокий, щупленький мужичок, картинно отставил ногу, заложил руки за спину и цвиркнул сквозь щербатые зубы. – Поженили дурачка! Вон, Серёга Кривой говорил, что видел его с жинкой. Чуть со смеху не помер. Она на целую голову выше его, да раза в два-три шире, а страшная – страсть! На огороде заместо пугала поставь, так все вороны передохнут. Во какая нынче любовь, бабоньки, – и, поправляя сползающую кепку, взвизгивая, протяжно рассмеялся.

За соседним забором раздался долгий бабий вопль, что-то загремело, с треском распахнулась калитка и, сверкая голяшками, по улице помчалась простоволосая молодуха. Видно было, что ей не впервой убежать от мужа.

– Убью, шалава! – за ней выскочил здоровенный расхристанный парень, бросил вслед полено и, схватив вилы, стоявшие возле забора, покачиваясь, побежал по раскисшей дороге. – Стой, зараза!

– Хе-х, нутром чую, опять Лёха свою бабёнку поймал с командировочными, – осклабился юркий мужичок. – Эх, весело живут! Отлупцует, как сидорову козу, недельку баба отлежится и снова начинает хвостом вертеть. Чего женщинам не хватает, не понимаю...

– Твоя правда, сват, – выпустив облако едучего дыма, закашлялся стоявший рядом старик. – Давно бы выгнал потаскушку, привёл бы другую бабёнку в дом и горя не знал бы.

– Сам виноват, сам, – опять загалдели соседки. – Нечего было городскую девку сюда везти. Привыкли бездельничать, а здесь-то работать нужно. Взглянешь, а у неё ни рожи, ни кожи. Спит до обеда, всё хозяйство запустила. А вечером не успеешь оглянуться, как уже сбежала со двора. Тока и умеет, что глазки строить другим да по сеновалам таскаться...

Повязанная по глаза сгорбленная старушка, одетая во всё чёрное, медленно вышла вперед и, намахнувшись клюкой, отполированной руками за долгие годы, тихо прошамкала:

– Цыц, негодники! Ишь, раскричались! Вы не на базар пришли, а на похороны. Галдят, других обсуждают... За собой смотрите, за собой! Ну-ка, замолчите, пока клюшкой не отходила, бесстыдники! – и начала мелко креститься. – Э-хе-хе, отмучилась наша Тонька, бедняжка... Царствие ей небесное! А Сёмка... Пусть на его совести останется. Бог всё видит...

– И правда, – тоже крестясь, стали шептаться соседки. – Расшумелись, словно на гулянку пришли. Не галдите, мужики. Нельзя, грех...

Семён, распахнув дверь на веранду, заметил в полутьме небольшую крышку гроба, словно не взрослого, а подростка будут хоронить. Поморщился, уловив запах тлена, запах воска, резко пахнуло щами с кислой капустой, пирогами и ещё какими-то тяжёлыми и неприятными запахами. Оглядевшись, думая, куда поставить портфель, чтобы не своровали, он заметил в тёмном сумраке застывшую женскую фигуру, сидевшую на лавке возле ларя, где обычно годами хранилось всякое барахло, которое уже в хозяйстве не применишь и выбросить жалко. Прищурившись, он всмот-

релся, ещё раз хлопнул дверью и нарочито громко кашлянул.

– Кто там шляется? – раздался уставший голос, и навстречу ему поднялась высокая сухопарая женщина, повязанная тёмным платком. – Сёмка, неужто приехал? А мы, когда телеграмму отправляли, не чаяли, что ты появишься. Забыл деревню-то, совсем позабыл. Сколько лет прошло, сколько лет... – и, обняв Семёна, запричитала вполголоса.

Продолжая держать портфель, Семён невольно отстранился, снял шляпу-блин, огляделся, куда бы положить и, не найдя полки, накинуд на толстый гвоздь, вбитый в стену. Пригладил реденькие волосёнки, стараясь прикрыть большую проплешину, сердито сдвинул бровки, поджал узкие губы и, прокашлявшись, начальственным голосом сказал:

– Это... Валентина Петровна, сейчас же прекратите завывать, – он шлёпнул ладошкой по мокрому плащу. – Что сырость разводите? Здесь и без ваших слёз хватает слякоти. Ни пройти, ни проехать по деревне. Грязь непролазная! Ничего не изменилось. Как жили, так и живёте в этом болоте! – он брезгливо взглянул на обшарпанные побеленные стены в грязных разводах и клочьях старой паутины.

– Дык, летом подсыпали дорогу, – запнувшись, сказала тётка Валя. – Машины разбили...

– Дык, дык... – недовольно пробурчал Семен и отстранился. – Когда научитесь культурно разговаривать? Только и слышу: дык, чаво, надьсь... Эх, деревня-матушка!

– Ты бы, Сёмка, заместо того, чтобы культуре учить, сначала бы подошёл к матери и попрощался, – неожиданно повысила голос Валентина Петровна и упёрла руки в бока. – Ишь, раскомандовался, недоросток! Вон, сейчас возьму чилижник, сдери с тебя подштанники и быстро отхожу, как в детстве бывало. Ничего, я опосля поминок с тобой потолкую, племянничек ненаглядный! А сейчас марш в избу! – и она ткнула скрюченным пальцем.

Семён не ожидал, что тётка взъерепенится. Он непроизвольно отдёргнулся и шагнул в сторону. Зацепился в полутьме за лавку. С грохотом уронил пустое ведро. Торопливо распахнул дверь в избу и, не удержавшись, с гонором сказал:

– Не Сёмка, а Семён Иванович! Тоже мне, нашли мальчика, – и, не слушая, как звлилась тётка Валя, он проворно захлопнул дверь.

Несколько старушек суетились в задней избе. Вовсю полыхал огонь в печи. Резко пахнуло тленом вперемешку с запахами еды. На столе высились тарелки и разнокалиберные рюмки. Стопками лежали ложки с вилками. Под холстиной виднелись бока испечённого хлеба да нескольких пирогов. В кулёчках виднелись карамельки, печенье и прочая мелочёвка, приготовленная к поминкам. Заметив Семёна, старушки закивали головами, здороваясь с ним. Показали на распахнутые двери передней избы. Быстро перекрестились, глядя на иконы в красном углу и отвернулись, продолжая заниматься делами.

Остановившись в дверях, Семён осмотрелся, крепко держа в руках тяжёлый портфель. Всё осталось, как в детстве. Фотографии на стенах, чахлые гераньки на подоконниках, скрипучая кровать за ситцевой занавеской, возле голландки распузатился сундучище, обитый металлическими полосами, чтобы не развалился от старости. На него, как он помнил, вечерами бросали дырявое ватное одеяло и они с братом, Санькой, ложились спать и каждый из них норовил первым завалиться к стене, чтобы ночью не грохнуться на пол. Ух, как Сёмка злился, если брату удавалось первым забраться на сундук и сразу спрятаться под одеялом. А ночью, разметавшись во сне, Семён частенько слетал с сундука, а брат смеялся над ним. Зато летом, если было тепло, они спали на веранде или на сеновале – вот уж было раздолье. Но сейчас на Семёна давил низкий щелястый потолок, из-под пола тянуло сквозняком, по запylённым оконцам шлёпали дождевые капли. Засиженное мухами тусклое зеркало было завешено лянляой тряпкой, а посередине передней избы, в небольшой домо-

вине, установленной на шаткие табуретки, лежала мать, и с обеих сторон рядом с ней сидели несколько человек и тихо о чём-то разговаривали.

– Ну-ка, подвиньтесь, – присел Семён на краешек скамьи, портфель опустил на пол, продолжая придерживать рукой, чтобы не стащили всякие проходимцы. – Благодарю!

Он взглянул на мать. Перед ним лежала не та мать, которую он помнил, а высохшая старушка с морщинистым восковым лицом, с провалившимся ртом, повязанная беленьким платочком в цветочек, из-под которого выбилась прядка не седых, а совершенно белых волос, руки сложены на груди и в них едва теплилась зажжённая свечка.

Исподлобья осмотрев всех, Семён не заметил брата. Да и смог бы признать его – он сомневался. Как уехал в город, с той поры ни мать, ни брата не видел. Да и особого желания не было общаться. Так, несколько раз отправлял переводы матери, а братом вообще не интересовался. Зачем, если пути-дорожки разошлись, и у каждого была своя жизнь – та, которую заслужили, как он думал – одному навоз кидать, а другому в масле кататься. Опять взглянул на мать. Сидел, а в душе было такое чувство, словно перед ним лежала не родная мать, а чужая женщина, и вообще, будто случайно попал на эти похороны, в этот дом, где угораздило родиться, но изба была не своя, не желанная, а словно чужая и незнакомая. Он уже давно оборвал почти все ниточки, которые связывали его с деревней и с родственниками, потому что над ним постоянно, как бы в шутку, насмехались тещь с тещей, обзывая дурачиной и деревенщиной. А ему хотелось быть культурным, как они. Встать с ними на одну ступеньку и жить, как они живут. Да уж, живёт-то хорошо, а вот встать на один уровень, этого не получилось – умишка маловато, намекал тещюшка. Вот и злился на весь белый свет, обвиняя всех и вся в своих неудачах, но, как ни крути, чёрного кобеля не отмоешь добела, так привыкла его тыкать носом супруга.

Вздохнув, Семён привычно пригладил реденькие волосёнки, провёл пальцами по белёсым бровкам, расстегнул верхнюю пуговку на плаще, оттуда выглянул уголок рубашки и яркий краешек модного галстука – подарок супруги. Поморщился, когда сосед дыхнул перегаром, посмотрел на монашку, которая быстро читала молитвы, держа в руках тяжёлую толстенную книгу, мельком оглядел всех, кто был в передней избе и, подхватив портфель, незаметно для других вышел, словно его и не было тут.

– Валентина Петровна, – остановившись возле тётки на веранде, пробубнил Семен. – Мне бы хотелось подробнее знать, кого пригласили на поминки, – и, покачиваясь с пятки на носок, надменно взглянул на неё.

– Ты ополоумел, Сёмка? – держа тяжёлый половник в руках, сказала тётка Валя. – Чать не гулянка в доме, а поминки. Кто знал и уважал вашу матушку, тот и пришёл.

– А где же мой дорогой братец? – удивлённо осматриваясь, с ехидцей сказал Семён. – Эй, Санька, вылезай! О, молчит... Знать, мамку не уважает, если не появился...

– Цыц, племяш! – намахнулась половником тётка Валя. – Не обливай грязью другого, ежели ничего не ведаешь... – и, застыв, начала прислушиваться. – Сейчас будут выносить. Нахлобучивай свою шляпу и жди на улице. На телеге поедешь, а то туфельки измараешь, – не удержавшись, язвительно ткнула в новенькую, но грязную обувь.

– Валентина Петровна, – протягивая тяжёлый портфель, сказал Семён. – Я привёз хорошую водочку, сервелатик и буженинку. Распорядитесь, чтобы на тарелочки разложили. И присматривайте за столом, чтобы ничего не украли здешние забулдыги.

– Эх, Сёмка, Сёмка, – махнув рукой, буркнула тётя Валя. – Каким ты был, таким

и остался. Иди, проводи матушку в последний путь, трепач, – и подтолкнула его к двери.

...Вернувшись с кладбища, все остановились возле дома. Женщины тихо шептались, мельком поглядывали на Семёна и покачивали головами, обсуждая, как он, даже не попрощавшись с матерью, отошёл от могилки и, взобравшись на телегу, громко принялся всех торопить, счищая с обуви прилипшую грязь.

Семён стоял в сторонке, заложив руки за спину, и внимательно осматривал избу и постройку.

Мужики, выстроившись вдоль забора, неторопливо споласкивали руки под рукомойником, вытирали влажным вафельным полотенцем, отходили, давая очередь другим, закуривали и степенно разговаривали, ожидая, когда позовут за стол.

Стараясь не встречаться взглядом с соседями, Семён осторожно поднялся по шатким ступеням. Зашёл на веранду, аккуратно повесил промокший плащ. Осмотрел раскисшую шляпу, накинул её на гвоздь и вздохнул, что теперь придётся покупать новую. Достал расческу, зачесал реденькие волосёнки набок, прикрывая плешь, поправил галстук и воротник рубашки под пиджаком. Прошёл в заднюю избу и, оставившись, молча стал смотреть в плачущее оконце, за которымгнулись под ветром тонкие ветви сирени.

– Семён Иваныч, пожалуйста к столу, – донёсся старческий голос и, развернувшись, Семён увидел перед собой маленькую сгорбленную старушонку, одетую в кофту с латками на локтях, в длинной юбке до пола и в платке, повязанном под брови. – Проходите, садитесь во главе стола. Хозяином чувствуете себя в избе, хозяином.

– Да, кстати, напомнили, – восторженно, Семён повернулся к тётке Вале. – Супруга моя повелела разузнать, на кого мать отписала дом.

– Тыфу ты! – чертыхнулась тётя Валя и быстро перекрестилась, взглянув на иконы. – Господи, прости меня, грешную! Не успели на мазарки отвезти, а он, зараза, уже избой интересуется. Совесть бы поимели, хапуги! Эх, подкаблучник, подкаблучник... – и махнула рукой.

– Фу, какой были грубиянкой, такой и остались, Валентина Петровна, – поджав тонкие губы и нахмурив белёсые бровки, сказал Семён и торопливо прошёл в переднюю избу, продолжая бубнить. – Да уж, чую, зазря в такую даль притащился. Видать, всё братцу досталось. Обошлось, опять перепрыгнул меня, родственничек...

– Дык я всю жизньюшку прожила по совести, как и твоя мамка, а вот ты по расчёту, племяш, – донеслось ему вслед и что-то загромыхало на кухнюшке. – Одно на уме – деньги. И не цепляй Сашку, не цепляй, а то ухватом да по хребтине прогуляюсь!

– Тише, Валька, угомонись, – зашептали старушки и торопливо перекрестились. – Нельзя в избе ругаться – грех...

– Уродилась же червоточина, – не обращая внимания на старух, продолжала ворчать тётка Валя. – А Тоня, царствие ей небесное, жалела его, всем говорила, будто несладко ему живётся в городе-то. Не верила, что сельчане рассказывали про Сёмку. Ага, видно, как несладко, аж рожка лоснится и рученьки белые без мозолей. Ничего, я потолкую с ним. Ох, как потолкую! Вправлю мозги, а может, остатки растеряет, ежели под горячую руку попадёт. Ишь, глаз уже на избёнку положил – клоп вонючий!

Не слушая, что говорила тётка, Семён прошёлся по передней избе. Внимательно осматривал стол, на котором стояли тарелки с блинами, чеплашки с мёдом, кутья, гороховая и пшённая каши. Горками высился хлеб. Стояли разномастные тарелки и рюмки. А там, во главе стола, заметил буженину, нарезанную крупными кусками и толстые кружочки сервелата. «Эх, культура, растуды...» – подумал он, криво усмехнулся, отодвинул стул и, не дожидаясь остальных, уселся на скрипучую табуретку и откупорил бутылку водки. Дотянулся до рюмки, взял, посмотрел на свет и

брезгливо поморщился. Достал чистенький платочек. Дыхнул и протёр рюмку. Налил водочки, медленно выпил и причмокнул от удовольствия, чувствуя, как внутри разливается тепло.

– Семён Иваныч, сперва надо блинком помянуть, а не водочкой, – он услышал шёпот и, оглянувшись, заметил перед лицом морщинистую руку, державшую блин, с которого капал жидкий мёд. – Скушайте, мамаку помяните. Вот уже и наши мужички с бабоньками расслаиваются. Грех выпивать, но Тоня сама попросила, чтобы её вспомняли с бутылкой на столе, а не токмо блинчиками. Хорошая была твоя матушка, душевная... Берите, берите, – и опять протянула руку.

– Сам возьму, – недовольно буркнул Семён, заметив тёмную кайму под ногтями старушки. – Не беспокойтесь! – и поднялся, держа в руке полную рюмку. – Так, товарищи... – он задумался на мгновение, решая, что сказать эдакое в своей речи, чтобы всех проняло, расстегнул пиджак, чтобы все заметили цветастый импортный галстук и заколку с крупным ярким камнем, потом гонористо произнёс: – Дорогие товарищи, сегодня мы простились...

– Соседи, помянем рабу божью Антонину, – оборвав Семёна, поднялась тётка Валя, доедая блин, затем съела ложку кутьи и взяла рюмку. – Царствие ей небесное! Светлая была душа, очень светлая... – медленно выпила, поморщилась и потянулась ложкой за гороховой кашей.

Семён нахмурился. Исподлобья посмотрел на всех и, заметив, что на него даже не взглянули, а сидят и слушают тётку Валю, молча плюхнулся на скрипучую табуретку и выпил. Опять налил в рюмку, снова выпил и откусил от толстого ломтя буженины, не притрагиваясь к деревенской закуске. Семён сидел, изредка посматривая на соседей. Он не забудет, нет, как на кладбище, когда ему тоже захотелось произнести речь, на него зашикали, замахали руками и быстренько оттёрли в сторону, чтобы не мешался. Он постоял, наблюдая за всеми. Затем сплюнул и засеменял между крестами к дороге, что петляла между березками на взгорье. Забрался на телегу и, поёживаясь от холодного осеннего дождя, начал покрикивать на сельчан, чтобы шустрее шевелились – не лето, и простыть можно в такую непогоду.

Уже потом, когда мужики начали забивать крышку гроба, Семён сидел, смотрел на них и с каждым ударом по гвоздю ему становилось всё легче и легче, словно тяжёлые молотки разбивали, разрывали невидимые нити, которые связывали его с этой глухоманью, с этой деревней, где прошло детство, где над ним насмеялись и частенько лупцевали, где был его дом, в котором они с братом выросли, и мать, которую он почти не видел, потому что она сутками пропадала на ферме среди коров, а вернувшись домой, сразу торопилась в сараюшку – то за овечками надо присмотреть, то коровку подоить, то навоз вывезти в детском корыте на картофельное поле. Тихая, безропотная женщина в линялом платье, с косынкой на седоватых волосах и в кофте с латками на локтях, виновато посматривала на него и, улыбнувшись, опять спешила по делам – такой он запомнил мать. На ней все ездили, все погоняли, а она слова не могла сказать в ответ, лишь отмалчивалась и всё выполняла, что ей говорили. Подрастая, Семён частенько упрекал мать, что им приходится жить в нищете, а она ласково проводила заскорузлой ладонью по его жиденьким волосам, что-то шептала, и он отдергивался, словно боялся испачкаться. Взрослея, он всё меньше с ней разговаривал, всё дальше отстранялся от неё и брата, который любил покопаться в земле да повозиться в сарае. Семён мечтал быстрее сбежать в город, где жизнь настоящая, красивая и богатая, а не то, что в этой деревне, провонявшей навозом, где корова была на первом месте, а он всегда находился на последнем...

Семён исподлобья посмотрел на соседей, которые сидели за столом, и криво, пьяненько усмехнулся. Подхватив бутылку, налил и медленно выпил. Пальцами зацепил кусок колбасы, надкусил и бросил на скатерть. Достал пачку импортных сигарет. Закурил, не обращая внимания на осуждающие взгляды, и тут же кто-то



заискивающе, с полупоклоном поставил перед ним блюдце для окурков.

– Закуривайте, – не глядя на соседа, Семён протянул пачку. – Такие сигареты сроду не сыскать в деревне. Иностранцы! – хвастливо сказал он.

– Я к нашенским привык, – донеслось в ответ. – И не дело в доме смолить-то. Не барин, можешь на веранде подымить, – и Иван, сидевший рядом с ним, хрипловато хохотнул.

– Ха-а-ам, – протяжно пробурчал Семён и потянулся за бутылкой. – Все хамы, все до единого! – и махнул рукой.

И тут же почувствовал сильный тычок под столом и услышал тихий шёпот:

– Заткнись, клоп! Забыл, как я купал тебя в свинячьей жиже? Гляди, могу повторить...

Вздвогнув, Семён затравленно взглянул на крепкого Ивана и отдёргнулся, словно получил пощёчину, когда услышал про жижу. Да, эта вонючая жижа преследовала его всю жизнь, когда вспоминал про деревню, про дом и мать с братом и разозлённых пацанов-старшеклассников, которые поймали его на свинарнике, сбили с ног и начали рожей тыкать в свинячью жижу за то, что рассказал училке, будто они украли классный журнал и сожгли. И, захлёбываясь, он испуганно визжал, а пацаны матерились и продолжали купать его в вонючей глубокой луже. Жижа, от которой ему никогда не отмыться. Даже получая нагоняй от тестя или тётки, он чувствовал себя, будто его носом в навоз тыкали, невольно или намеренно напоминая, откуда он родом.

Вскоре за столом разговорились. Все сидели, наливали полные рюмки и, морщась, выпивали. Тянулись за закусками, с шумом хлебали горячие щи и лапшу, хрумкали солёными огурцами, о чём-то говорили и опять тянулись к бутылкам. Мужики поднимались друг за другом, на ходу доставали смятые пачки сигарет и папирос и уходили на веранду подымить, потолковать за жизнь. Возвращались и опять тянулись к бутылкам и тарелкам.

Когда принесли компот и пироги, некоторые съедали по кусочку, запивая компотом из яблок и, шепнув тётке Вале, тянулись к выходу, убирая в карманы кусочки мыла, новые платочки или носки – так было принято.

Вскоре остался Семён с тёткой Валей да две старушки, которые убрали со стола грязную посуду и стали мыть её и расставлять на столе, чтобы просохла.

С хрустом откусив крепкий солёный огурчик, тётка Валя взглянула блёклыми глазами, поправила сползающий платок и сказала:

– Ну, племяш, рассказывай, как поживаешь-то в городе? Чать, хорошо устроился, ежели сюда носа не кажешь.

Медленно выцедив из рюмки, Семён пальцами ухватил кругляш сервелата, осмотрел его со всех сторон, что-то заметил, брезгливо снял соринку, сунул колбасу в рот, обтёр пальцы об полу пиджака, поднял голову, сдвинул бровки и посмотрел на тётку.

– Живу, как у Христа за пазухой, – кичливо сказал он и опять потянулся к бутылке. – У меня есть всё: квартира, машина, дача... Всё, что душа пожелает. А если нету, дык по первому звонку привезут, на коленях приползут, лишь бы мне угодить. И друзья не чета этой рвани, – он пренебрежительно кивнул в сторону, намекая на соседей, кто сидел за столом. – Постоянно приглашают на приёмы, на банкеты, в рестораны, на дачки да в баньку... У-у-у, там люди воспитанные, интеллигентные – голубая кровь! Вся одёжка импортная, парфюм тоже иностранный. Разговоры ведут про культуру да про всякие выставки и картинные галереи. В общем, моя жизнь удалась, Валентина Петровна.

– Ага, ага, – внимательно слушая, кивала головой тётка Валя. – И ты воспитанный, да? А что же ты, племяш, тилигент чёртов, рюмку держишь и пальчик оттопыриваешь, а грязные руки об одёжку вытираешь? Смотрю, водку-то хлещешь, как

последний алкаш. Так принято среди твоих друзей, да? – и, не удержавшись, хохотнула. – Выбрался из грязи в князи, а привычки-то прежние остались, клоп вонючий! – хлёстко сказала, как припечатала.

Поперхнувшись, Семён сидел, часто помаргивал и вздымал тонкие бровки, ладонью вытирал сальные губы и приглаживал волосы. Лицо сразу же покрылось бурыми помидорными пятнами. Он прищурился, глянул на тётку и взвизгнул:

– Ты, ты... Вы, Валентина Петровна, вижу, слишком остры на язычок, – хватая бутылку, Семён потянулся к рюмке. – Деревенщина! Так и будете жить среди навоза. И соседи, и ты, и мой братец...

– Не трогай Сашку! – хлопнула ладонью тётка Валя. – Что ты знаешь о нём, прыщ? Он, инвалид безногий, троих детишек один воспитывает и несколько лет из дома не выходит! Нинка, жена его, светлая память, почти пять лет, как её не стало, а он всю семью содержит. И матери помогал, от пенсии отрывал и каждый месяц присылал. Ребятишки ни разу его пьяным не видали, ни разу голос на них не поднял, не говоря про кулаки. Видел мальчишек за столом? Ох, сурьёзные ребята! Это его сыновья приехали, чтобы с бабушкой проститься. А ты, клоп вонючий, всю жизнь для себя прожил. Даже ни одного ребёнка не имеет. Кошки да собаки у вас вместо детей растут. Вон, в зеркало посмотри. В глазах-то одни деньги мелькают. Родную мать забыл ради вольготной жизньюшки. А мы всем миром собирали копейки, чтобы её в последний путь проводить.

– Что вы понимаете в моей жизни? – взъерепенился пьяненький Семён и, чавкая, давсь большим куском буженины, прошепелявил: – Я помогал матери. Да, помогал! Деньги присылал. А, между прочим, Сашка больше меня получает. Ему государство пенсию платит да на каждого оглоёда пособие выделяет! Вот Саньке-то и должно быть стыдно. Такие деньжищи огребают, а матери, как я вижу, отправлял копейки, – и махнул рукой, показывая на убогую обстановку. – Помощничек...

– Государство платит, говоришь? – вскочив, склонилась над ним тётка Валя. – Да чтобы тем чудилам, кто придумал пенсии для калек и детские пособия, до дня своего последнего сидеть на такой зарплате! И вволю не нажрёшься, и с голодухи не дают подохнуть. А ты нашёл, чем брата корить. Эх, мелкая твоя душонка... Ты взгляни на себя, паскудник! Сам отправил три копеечных перевода за все годы, как в городе пристроился и успокоился. И ни разу не появился, ни разу не спросил, как матьживает, какая помощь нужна брату. Их променял на богатенького тестя. Сбежал-то из деревни, как мелкий пакостник, и позабыл свой дом, а главное – родную мамку забыл!

– Да какой дом, тётка? – икнув, презрительно протянул Семён, осмотрелся, а потом заверещал, размахивая руками. – Эту развалюху? Да уж, хорошее наследство оставила мать! Даже покупателя не найдёшь, который купил бы избенку. Вы говорите, что забыл... Да я теперь плевал, харкал с высокой колокольни на вас, на этот дом, на брата, на деревню и на всё, что с вами связано! Уеду и забуду, как страшный сон. Наконец-то сброшу проклятуший камень с души. Устал выслушивать: помоги, дай, родственнички, брательник, мамка, мать... вашу мать! Понятно тебе, карга старая? – он брезгливо поморщился и рванул ворот рубашки, словно задыхался от запаха навоза.

Долго сидела тётка Валя. Молчала, глядела на племянника, о чём-то думала. Опять взглядывала и хмурилась, поправляя прядку седых волос. Затем налила водку и медленно выпила. Неторопливо поднялась. Цепко ухватила его за воротник, сдёрнула с табуретки и подтащила тщедушного Семёна к двери.

– Вон Бог, а вот порог! Живи, как твоя совесть велит, клоп вонючий, – она кивнула в сторону икон, скрюченным пальцем показала на дверь, выбросила портфель и вытолкнула Семёна – в дождь, в осеннюю слякоть, в ночь, потом вернулась к столу, размашисто, истово перекрестилась и сказала: – Господи, прости меня, что не смогла

на путь истинный наставить его, несмышлёныша! Не ведает, что в жизни творит. Хотела Сёмку вычеркнуть из памяти и не получается. Своя же кровинушка, родная. Не будет мне прощения, если его, непутёвого, забуду и оставлю одного, не будет. Помоги вытащить Сёмку из болота, куда он попал по глупости своей, пособи вернуть его к жизни, к настоящей жизни. Господи...

Тётка Валя присела на краешек скамьи. Закрыла лицо ладонями. Раскачиваясь, протяжно застонала и заплакала: тоненько, горько, со всхлипами, словно обиженный ребенок...

## **Два свободных дня**

– Мы не рабы, рабы не мы, – громко продекламировал Шурка Антонов, размахивая рукой, и посмотрел на девчат, а потом стал спускаться с крыльца деревенского клуба. – Брак, девчонки, – это добровольное рабство, как сказала знаменитая артистка. Забыл – какая, но очень умная баба... А я не собираюсь в семейное рабство. Это вы, паучихи, сети расставляете и ждёте, когда мужики попадутся, чтобы их захомутать. Дурак попадёт, а умный, как я, к примеру, выскользнет. Вот вам, не дождётесь, чтобы я в ваши сети угодил! – и показал кукиш.

– Тю, напугал! У нас помоложе есть женихи, а ты уже старик, – наперебой заговорили девчонки на крыльце. – Вон, к бабке Лопырёвой шагай. Одна живёт. Глядишь, приголубит...

И закатились, взглянув на Шурку.

– Сами вы – старухи, – огрызнулся Шурка, закурил и зашагал по тропинке в сторону дома. – Ишь, бабка Лопыриха... Смейтесь, смейтесь, а на мой век девчат хватит. Ага...

Шурка Антонов не хотел, чтобы его захомутали. Не нагулялся, видите ли, чтобы жениться, а соседи в глаза тыкали, что пора своих детей заиметь, а он до сей поры за девочками молоденькими ухлёстывает. Его ровесники давно уж переженались и кучу детишек настрогали. А некоторые успели разбежаться и снова женились, потому что все нормальные люди создают семьи, а он, кобелина этакая, всё не может нагуляться. Мать взялась уму-разуму учить. Отец помалкивал. Сам таким был в молодости, как Шурка. Мать проходу не давала и отца попрекала, что его дурная кровь в сыне играет. Яблоко от яблони недалеко падает. И, не на шутку разойдясь, хваталась за тряпку или полотенце и тогда обоим бабникам доставалось.

И Шурка не вытерпел. С матерью разругался в тартарары, уволился с работы, собрал сумку и помчался на остановку. В город укатил.

Город закружил. По улице не пройти, глаза разбегаются, не знаешь, какая девчонка лучше. И с той хочется познакомиться, и с этой, а вон та ещё красивее, а вон у той всё есть, и такое, что сразу же хотелось прижаться, а там какая, ох, ты-ы... В общем, модели мира отдыхают.

И Шурка пустился во все тяжкие. С работы вернётся, в душ сбегает, в чистое переоденется, одеколончиком сбрызнется, а как же без него, ведь на запах все девки слетаются, как мухи на... Тьфу ты, как пчёлки на цветок. Наодеколонится и – помчался девчат с ума сводить, как говорил. В городе много мест, где можно с девчонками культурно отдохнуть и провести свободное время. И отдыхал, и проводил, и все деньги на девчат спускал, какие зарабатывал. Ребята, с кем жил в общаге, переженались, квартиры получили, а он всё женихался, всё по девочкам бегал. А за тридцать перевалило, он призадумался. А не надеть ли хомут на шею, так сказать. Ну, как сказать, надеть... Он бы ещё побегал, да нужда заставила. Девчонки стали отмахиваться. Зачем нужен старик, когда вокруг них вон сколько молодых парней крутится. И принялись отшивать его, старика тридцатилетнего...

Вот и получается, что Шурку нужда заставила жениться. Всем говорил, но особенно себя убеждал, будто надоело по общагам мотаться да всухомятку питаться, а тут подвернулась деваха. Ну, как деваха... Почти ровесница. Наверное, мужика подходящего не нашла, если до сих пор замуж не выскочила, или они мимо проскакивали. Раньше бы сам мимо неё прошёл и не заметил. Ничего особенного в ней. Маленькая, щупленькая, ни рожи, ни кожи, как он посмеивался на перекурах, зато с отдельной квартирой. Это не общага, где не успеешь чихнуть, а тебе орут, чтобы заткнулся. Но главное, что никуда бегать не придётся, своя баба под боком. Лежи на кровати да поплёвывай в потолок, а она будет ублажать. Эх, красотища!

Всё быстро закрутилось. Почти не гуляли и про любовь не говорили. Не задевали эту тему, а может, считали, что уже поздно им про любовь разговоры разговаривать – возраст не тот, и желания не было, а может, думали, что они – эти чувства, лишние в жизни. Два-три раза в кино ходили, потом в кафе сидели, чаёк пили или кофе брали с булочками, поговорят ни о чём, и Шурка идёт провожать.

В основном, он говорил. В деревне-то болтуном прозвали. Наверное, про него было сказано, что боженька язык семерым нёс, а одному достался. Так и получилось. А Шурка говорил, что язык дан для того, чтобы им молоть. И молот. Всякую ерунду городил. И так увлечённо врал, да ещё с серьёзным видом, что все верили. А бывало, сам начинал верить в то, что придумывал. А уж придумывать был горазд...

Шурка ни разу не был в деревне, как оттуда смотался. Форс держит, отец говорил, а мать, бывало, подхватится, в сумки натолкает всяко-разных продуктов и тащится в город. Жалко его, всё же сыночек. А возвращалась, всем жаловалась, как Шурка плохо живёт. Голодует. С хлеба на воду перебивается. Исхудал, кожа да кости остались. И личико-то всего с ладошку, говорила она и вытягивала свою ладонь, будто показывала, а потом показывала, каким Шурка раньше был, и раздвигала руки в стороны, словно хотела обнять необъятное. И опять начинает жаловаться, мол, как же Шурка рожу наест, если в общаге живёт. Там сколько оглоедов обитает – ужас! Не успеет на кухне поставить картошку или супчик, уже кастрюльку своровали. Не успеет чайник вскипятить, тоже спёрли. В столовую не набегашься – это ж сколько денег нужно, чтобы прокормиться. Столько добрые люди не зарабатывают. Горестно покачивала головой и снова ругала общагу. Куда же милиция смотрит? Вор на воре сидит и вором погоняет – это она про общежитие говорила.

А когда узнала, что сын собрался жениться – не поверила, а следом обрадовалась. Помчалась по деревне новость рассказывать. А потом в город отправилась, сына проведать и на будущую сноху посмотреть. Ну и что, что некрасивая, так с лица не воду пить, всё повторяла сыну. Главное, что баба рядышком будет, которая есть-пить приготовит, но самое главное – это квартира, а не твоя общага, где ни днём, ни ночью покоя нет. И тыкала пальцем.

Свадьбу решили скромно сыграть. Валентина в первый же день знакомства с будущей свекровью заявила ей, что нечего деньгами сорить. Нечего добро на навоз переводить, всех не накормишь и не напоишь, а то слишком много желающих на дармовщинку набирается, сказала она, взглянув на длинный список гостей, который привезла мать из деревни, а Шурка добавил в него своих друзей. И одним махом вычеркнула почти всех, оставив одних родителей и свидетелей, и всё на этом.

– Правильно говоришь, дочка, правильно, – повздыхав, закивала Шуркина мать. – На всех не угодишь и никого не удивишь. Хотя в деревне принято гулять, ну, если нельзя, значит, так тому и быть, – и повернулась к сыну. – А ты, Шурка, слушай, что жена говорит. Плохого не посоветует. О как!

И ткнула корявым пальцем вверх.

– Так это... – неопределённо взмахнул рукой Шурка. – А как же эти?

Наверное, на остальных гостей намекал.

– Обойдутся, – сказала, как отрезала, Валентина и меленько порвала список

гостей. – Потом к ним съездим. Сами навестим. Может быть, когда-нибудь...

Свадьбу сделали у Валентины. Она наотрез отказалась гулять в кафе или ресторане. Пустая трата денег и воровство продуктов, следом поддакнула тёща. А тёща знала всё или почти всё, потому что работала не то бухгалтером, не то экономистом, а сейчас собиралась уходить на заслуженный отдых. Сейчас же, сразу после свадьбы...

– Твоя правда, сваха, – закивала головой Шуркина мать. – Нечего транжирить деньги. Молодым ещё пригодятся. Только жить начинают.

И погладила Шурку по заметной лысине.

– Вы бы помогали молодым, – сказала тёща. – Всё же в деревне живёте. Продукты свои, не покупные. К примеру, сальце или мясо, сметанка с маслицем, гусь-тинка с курятинкой, здесь мешок-другой картошки да ещё каких-нибудь фрукто-ягод-овощей, и они будут сыты, и денежки целы.

– Конечно, поможем, – закивала Шуркина мать. – Всё ж своя кровинка. Как же без помощи-то? Нельзя!

– Вот и ладушки, – сразу заворковала сваха. – Я бы помогла, да нечем. На производстве работала. На мне такая ответственность была, и сказать страшно...

Замолчала, многозначительно поджала губы, округлила глаза и закачала головой.

Свадьба прошла тихо и неприметно. Посидели за столом, выпили. Отец успел до свадьбы назюзюкаться, пока до города добирались, а за столом приложился к рюмашке и на душе совсем захорошело. На частушки потянуло. Какая ж свадьба да без матерных частушек?! Вскочил, притопнул ногой, матерно заголосил, но тут же рухнул на стул и замолчал, когда жена пнула его по ноге и рванула за пиджак, сажая на место, а потом ещё сунула локтем под столом.

– Неудобно же перед новой роднёй, охламон! Они, вон, какие умные да интеллигентные, а у нас восьмилетка на двоих и ничего более. Глянь, они про театры и выставки разговаривают, а ты лезешь со своими похабными частушками, бесстыдник! Мы как были деревней, так для них и останемся, а они-то – ого-го! – зашептала жена, косясь в сторону свахи. – Взять нашу сваху, к примеру, она же была ответственной экономисткой на важном производстве! Господи, слова-то какие...

И неопределённо покрутила рукой в воздухе.

После свадьбы гости стали разъезжаться. Мать целовала сноху, доченькой называла, к себе зазывала, но Валентина отмахивалась. И времени нету, и далеко добираться. Лучше вы к нам. На том и разъехались.

– Слышь, Валька, а тёща не собирается уезжать? – спустя неделю сказал Шурка, укладываясь спать. – Все умотали, а она как в своей квартире хозяйничает. По всему дивану расползлась в зале, даже телевизор не посмотришь. А сунешься, рычит, что загораживаю, или ей места мало на диване. А мне что, на полу сидеть прикажете? В холодильник загляну, она блажит на всю квартиру, будто у неё последний кусок отнял.

– Ты мою мамку не тронь, – сказала щупленькая Валька и погрозила пальчиком. – Она будет жить с нами. Я так решила и... мамка. Пенсию оформила по вредности. Что одной-то прозябать в другом городе. Посидели с ней, подумали и решили, что останется с нами. Не так скучно мамке будет, да и мне помощь в доме, всё же замуж вышла, всё ж мужик в семье появился. Забот полон рот.

И поджала тонкие губы.

Шурка чуть с кровати не грохнулся, когда новость услышал. Ну, ничего себе подарочек на свадьбу! Тёща за эти дни как собака надоела, везде свой нос совала, словно сторожевой пёс, того и гляди, свечку в руки возьмёт и ночью встанет возле кровати, а что будет, если вместе начнут жить? Обиделся Шурка. Отвернулся от жены, засопел, уткнувшись лбом в холодную стенку. Но Валька согрела его. Долго

успокаивала, пока он не оттаял.

И началась семейная жизнь. Шурке ультиматум выдвинули. Заработанные деньги просто обязан отдавать жене, потому что жена – это три в одном: кассир, бухгалтер и экономист. Все до копейки будет отдавать. Шурка было заикнулся про карманные расходы, а ему кукиш показали. Никаких карманных денег! Строгий учёт деньгам. Копейка рубль бережёт, – сказала тёща, а жена выгребла из кармана всю оставшуюся мелочь.

– А, это... – он поводит руками и привычно соврал, чтобы хоть немного выпросить на карманные расходы. – Вальк, на работе сказали, что нужно деньги сдать на помощь африканским странам. Голодают они, пухнут. Дай, а?

И застыл с протянутой рукой.

– Там вечное лето, – сказала Валентина. – Они три урожая в год собирают. А ещё у них бананы растут на деревьях и булочки, и ещё что-то... которые мы покупаем в африканских странах за огромные деньги. Обойдутся! Это они нам должны помогать, а мы им – вот! И тебе – вот!

И показала два кукиша.

Шурка завздыхал. Нет, не о такой жизни он мечтал. Он думал, раз женился, значит, жена обязана улаживать его, как в фильмах показывают. Всё-таки мужик – это глава семейства и его слово – закон, и никак иначе. А получается, что теперь будет жить намного хуже, чем в родной общаге? Вот тебе и женился...

И началась строжайшая экономия. Шурка забыл, что такое посидеть в кафе или заскочить в забегаловку и пропустить пару кружек пива, а мысли про девчат вообще из головы выбросил. Даже пить стал меньше. Можно сказать, почти бросил. Нет, не то, что совсем бросил, а местами. На свои деньги бросил – это точно, но если отправлялись в гости и там наливали, он не отказывался. Наоборот, навёрстывал упущенное за время семейной жизни. В общем, при каждом удобном случае, которые выпадали не так часто, но всё же выпадали, он напивался в зюю. А напивался, начинал кочевряжиться перед женой и тещей, пока его не загоняли спать, а наутро плешь проедали, вспоминая вчерашнее, и от себя приплетали, что было и чего не было. Да лучше бы отлупили, чем вдвоём над душой стоять, вздыхал Шурка. И так до следующих гостей. К себе не звали, а к другим ходили, и там Шурка отводил душу, а наутро ждала головомойка. Ворчал, сопел и кряхтел, когда получал эту головомойку, но всякий раз, когда приходил на работу, хвастался, какая у него жена хорошая.

– А что вы, мужики, своих баб хаеете? – пренебрежительно махал рукой Шурка. – Всё не так, всё не эдак. А для чего женились, если грязью обливаете? Сами же таких выбирали, – и тут же стучал по впалой груди. – А вот моя Валька – такую бабу нужно поискать. Да-а... Сразу скажу, что днём с огнём не найдёте. Ага... С работы вернусь, она возле меня крутится. Пока раздеваюсь и умываюсь, на стол соберёт. Глядишь, рюмашку-другую нальёт для аппетита, меня накормит-напоит, а потом приласкает, – и жмурился. – Не жена, а золото! Ни разу не пожалел, что женился. А вы только умеете, что своих баб дерьмом мазать. Ага... – и повторил: – А моя Валька – золото! И тёща такая же. Да-а-а...

Вздохнёт задумчиво, причмокнет и качает головой, а может, и сам начинал верить в свою болтовню, а возможно, мечтал, чтобы его бабы, как называл жену и тещу, были такими, какими себе представлял в своих мечтаниях.

Правда, мать, когда бывала в гостях, возвращаясь в деревню, качала головой, что сыночек весь исхудал, потому что днюет и ночует на работе. А как не исхудать, ежели круглые сутки работает. Семью нужно содержать.

Да, семью содержать – это тяжело, а когда ещё вместе с тещей живёшь – это вдвойне или втройне... нет, многократно тяжелее, потому что у неё запросов больше, чем у родной жены. И никуда не денешься, нужно выполнять, потому что она – мама,

и этим всё сказано. Тёща заставила его на другую работу перейти. Видите ли, мало зарабатывает, а мужик просто обязан содержать жену и её любимую мамочку, потому что они неразрывно связаны – мама и дочка. Шурка попыхтел, повозмушался, но устроился станочником. В отделе кадров сказали, что будет неплохие деньги зарабатывать, а ещё в цеху или цехе... он уж не помнил, лесом пахнет, словно в тайге на свежем воздухе работаешь. Ага, пахнет... С первого дня Шурка стал пластаться на работе, тягая неподъёмные доски на станки. Цех преогромный! И станков тьма-тьмушная. Куда ни глянь, везде станки стоят и возле них люди, как муравьи, бегают. В одни ворота доски завозят в цех, а на другом конце уже готовые изделия на машины укладывают и отправляют по всей стране и всему огромному миру. И шум такой был, аж уши закладывало. Шурка наорётся за день возле станков, домой придет,... нет, почти приползёт, а разговаривать силушки нет. Не успеет поужинать, глядишь, приткнулся в уголке и уже сопит, слюни на воротник пускает. Умаялся. Уснул. А утром опять на работу. И снова весь день доски тягает. Вымотался. Кожа да кости остались. Штаны на ходу слетали. Зато тёща раздобрела. Широкая стала, многоскладочная... И жена поправилась. Казалось, даже чуточку подросла, да и вообще... Правда, тёща и жена лучше не стали от этой хорошей жизни, а наоборот. Чем лучше зажили, тем больше появилось запросов. И то нужно купить, и это, а ещё в магазины заглянуть, какую-нибудь одежду подобрать, а то старая почему-то не налезает. И принимались обсуждать, в каком магазине и что продают, какая блузка к глазам подойдёт, а кофточка к волосам или маникюру, сумочки к носовым платкам подбирали, а потом решали, к кому бы на выходные в гости съездить и обновками похвастаться, а к кому в отпуск податься – это уже дальние планы составлялись. Правда, при этом Шурку забывали. Как был в старых штанах и ботинках, так до сих пор в них и ходил. А что было из новой одежды, так некуда её носить. Весь в работе, весь в заботах. Семью содержать – это слишком тяжело. Ага...

Шурка вздыхал, поглядывая на них. Уж не раз в мыслях жалел, что женился. Да лучше бы один жил или, в крайнем случае, в деревню умотал. А потом задумывался. А разве одному лучше, – размышлял Шурка. Опять в общагу возвращаться, откуда едва вырвался, его не тянуло. Может, годы не те, чтобы там жить. Общежитие – общее житие, можно сказать, где всё, что успел нажить непосильным трудом, – это становится общим. А ему хотелось спокойной жизни. Чтобы вернуться домой, прилечь на диване или на кровати, взять газетку и почитать на сон грядущий, или какую-нибудь передачу посмотреть, а рядышком баба, да такая, чтобы ух, прям как даже, а ещё ребятишки бегают... Шурка вздохнул. Опять жениться? Нет уж, одного раза хватило! А в деревню вернуться, кому он нужен там? Снова в клубе штаны протирать, который чаще закрыт, чем работает, а в свободное время в бутылку заглядывать. Так и спиться недолго. Правду сказать, давненько не был в деревне. Думал, вот женится, и начнут туда ездить. Ага, начали... Вальке, как всегда, некогда и не на кого мать оставить. То у неё простуда, то необъятный живот болит, как бы не аппендикс (лучше бы жрала поменьше, зараза), то радикулит проклятый замучил (правильно, в колобка превратилась, никакие ноги не удержат), то бессонница (днём нужно поменьше дрыхнуть), то ещё какая-нибудь болячка появится... В общем, самая большая тёща в городе, в стране, в мире и его окрестностях. А одного Шурку не отпускали в деревню. Из доверия вышел...

– Знаю тебя, – сразу заводилась Валентина, едва он заикался про деревню. – Не успеешь из дома выйти, начнёшь башкой крутить во все стороны. Ни одну юбку мимо себя не пропустишь. А до деревни доберёшься, так ещё неизвестно, дойдёшь до родного дома или напьёшься со своими дружками, а потом по бабам побежишь. Там же ни одной путной девки не осталось, а про мужиков и говорить не хочется. Алкаш на алкаше и алкашом погоняет, а ты ещё и бабник к тому же. Вот и скажи мне, дорогой, под каким кустом или в каком сарае тебя искать, если поедешь в де-

ревню, а?

И, оперев руки в располневшие бока, с прищуром взглядывала на Шурку.

– Так это... – он пожал плечами. – Мимо дома не пройду. Какие бабы, о чём ты болтаешь? – он возмутился. – С работы прихожу, едва ноги волоку. Здесь бы с тобой справиться, а ты про других баб говоришь. Тебе не угодишь!

И отвернулся, оскорблённый.

– Чёрного кобеля не отмоешь добела. На других шалав всегда сила найдётся, – повысила голос Валентина, а тёща поддакнула на диване. – Вспомни, как после свадьбы съездили. Ну, когда я застукала тебя с девкой в сарае. Помнишь? С той самой поры не отпускаю в деревню, потому что ты вышел из доверия. Целиком и полностью! Дома сиди. Никакой деревни тебе не видать. Свинья везде грязь найдёт.

Наверное, это касалось как девок, так и дружков по пьянке.

– Так это... – он развёл руками и взъерошил всклокоченные волосы. – Так это... Я ж говорил, что она приходила за картошкой...

– В сарай и за картошкой? – Валентина упёрла руки в бока. – Откуда она взялась в сарае-то – эта картошка, да ещё в тёмном уголочке, если погреб на другом конце двора находится? Бабник, как есть – бабник, и алкаш в том числе!

И она ткнула пальцем.

– Правду говоришь, дочка, правду, – раздался тёщин голос. – Все мужики – сволочи. Всех нужно держать на коротком поводке. Бабники, да ещё какие!

Шурка промолчал, но всё же решил, что при удобном случае он отправится в деревню. Домой тянуло...

А вскоре такой случай представился. В выходной, едва рассвело, тёща подхватила. Они собрались навестить тётушку в соседнем городе. Тётушка была старенькая, но богатая, и наследники не давали ей покоя. Проведывали, заботясь о её здоровье. Привозили гостинчики, которые сами же и съедали за чашкой чая, а к чаю было всё, что привезли и даже больше, что ещё смогли найти в тётушкином холодильнике. И каждый наследник изображал из себя самого больного, самого бедного из всех живущих людей, пытаясь разжалобить тётку, чтобы она отписала на него долю – это самое малое, а лучше, если всё отдаст, а они обяжутся до последнего её дня носить тётушку на руках. А как не носить, – рассуждали они, – если у неё и ковры, и хрусталь, и всякие сервизы, а про картины и всякий там антиквариат говорить нечего – любой музей позавидует, а уж сколько денег да золота с брильянтами у неё – про это говорилось шёпотом и всегда с оглядкой. После каждой поездки к этой богатой тётушке жена с тёщей отставали от Шурика недели на две-три, потому что всё это время они вспоминали и мечтали о том, что сделают, если им достанется наследство. Мечты были грандиозные. Покупка кооперативной квартиры – это всего лишь маленькая часть мечтаний, а там следуют машины, дачи и домик на самом берегу моря и ещё что-то, и ещё... А потом, когда уставали мечтать, они возвращались в реальный мир и снова брались за Шурика. Нет, не то, чтобы измывались над бедняжкой, а просто учили уму-разуму. Свой-то муж у тёщи давно сбежал, потом ещё было несколько так называемых мужей, но и они недолго продержались. Кто-то со скандалом уходил, оставляя всё нажитое добро, а некоторые потихонечку уходили, по-английски, так сказать. Утром уйдёт на работу и исчезает, лишь записку приносят от него, мол, дорогая, так больше не могу жить, я ухожу, и меня не ищи, а все вещи можешь оставить себе. Много было мужей, а сколько – тёща не помнила. А после свадьбы доченьки она взялась устраивать её личную жизнь, потому что у неё был преогромный опыт с мужьями, и она знала, что им нужно, а что не нужно, но всегда при этом добавляла, что этих сволочей, мужиков, необходимо держать в ежовых рукавицах, а ежели дашь слабину, они стараются выскользнуть на свободу и тогда... И тогда тёща с доченькой взялись за Шурика, чтобы он не вырвался на волю.

Едва за ними закрывалась дверь, когда они уезжали к любимой тётушке, Шурик



бежал к окну. Стоял, скрывшись за портьерой, наблюдая, как жена и тёща торопились на вокзал. Дождался, когда они скроются за углом, и принимался наводить ре-визию в квартире, доставая спрятанные записки. Мчался в ближайший магазин и покупал бутылку, а то и две, водки или вина – это зависело от объёма записки, да ещё хорошенькую закуску прихватывал. Ну, балычок там, сервелатик и прочие делика-тесы. Возвращался и устраивал праздник для души, зная, что тёща и жена появятся лишь на следующий день к вечеру.

Так и в этот раз получилось. Шурка вытянул худую шею, затаил дыхание и при-слонился ухом к двери, прислушиваясь к нежному тёщинному воркованию и нетороп-ливым шагам на лестнице, на цыпочках подбежал к окну, посматривая из-за занавески, как тёща, словно колобок, катилась по тротуару, а следом семенила его жена. Вот они свернули за угол и исчезли. Всё, укатили! Шурка издал громкий про-тяжный возглас, но тут же опять выглянул, а вдруг они услышали или что-нибудь за-были и сейчас вернуться, но на улице было тихо. Приплясывая, Шурка подождал несколько минут и кинулся в ванную. Там, под потолком, в вентиляционной трубе лежала его записка в консервной банке. Жена не догадывалась, что Шурка давно го-товился к празднику души. По копейке, по полтинничку, по рублику откладывал и довольно-таки хорошую стопочку скопил, а мелочи – это без счёта, как казалось. И сейчас... Он зажмурился, предвкушая, что сейчас будет.

Первым делом он собрался в магазин. Оделся. Взглянул в зеркало и не узнал себя. Был худоба, а теперь вообще тень осталась. Кожа да кости. Постоял, помор-щился, почёсывая небритую щеку. Да уж, покажись в деревне, и никто не узнает. Лет пять не был, а может, и поболее того. Шурка наморщил лоб, вспоминая, когда была свадьба, и удивлённо пожал плечами. А ведь он забыл, когда женились. И тут же вздёрнул клочкастые брови. А что тут удивительного, если счёт дням потерял из-за этой проклятушей работы. Не успеет глаза продрать, торопится на работу. Весь день доски тягает, аж в глазах темно становится, а домой вернётся, чуть ли не с лож-кой засыпал за столом. Прислонится к стенке и уже засопел. А в выходные бегал на шабашки. Кому-нибудь крышу подлатать, другим перегородку поставить, а третьему окна заменить. Какая-никакая, а копейка в дом, как жена говорила. Ладно, немного прятал в записку, а если не успевал, жена быстро находила, и тогда у неё не допро-сишься. Что в руки жены попало, то пропало. Закрутился с этой работой и правда забыл, когда женился.

Шурка вздохнул. Взглянув ещё раз в зеркало, он тихонечко вышел на пло-щадку, прислушиваясь к голосам. Лишь бы соседи не заметили, а то быстро жене до-ложат, что он куда-то уходил. Столько наплетут, что не разгребёшь. Всех соседей предупредила, чтобы за ним присматривали. Шурка постоял, прислушиваясь, потом стал спускаться. Выглянул из подъезда. И быстрее за угол скользнул. А там до мага-зина рукой подать.

И вернулся так же. Покурил, посматривая на пустой двор. Прошмыгнул в подъ-езд и взлетел на свой этаж. Щёлкнул замок, и Шурка прислонился к стене. Хоть в шпионы подавайся. Никто не заметил, что он сбежал в магазин и вернулся, держа в руках свёртки и кулёчки, а из карманов торчали горлышки бутылок. Всё, душой и телом к празднику готов!

Шурка разделся. Включил музыку. Пугачиха голосила. Хорошо поёт, зараза, и сама неплоха с виду. Вот такую бы жену, завздыхал Шурка и полез в шкафчик. По-ставил тарелки на стол. Рядышком хрустальную рюмку. Водку заранее сунул в моро-зилку. Уважал охлаждённую. Потирая руки, тоненько нарезал колбаску, возле неё улёгся веером сыр в дырках. Он любил красиво покушать, как про себя думал. Фаль-шиво засвистел, доставая из холодильника банку с огурцами. Один накромсал круг-ляшами, а второй распустил на четвертинки, а в серединке краснеют помидоры. Рядышком чёрный хлеб. Селёдка в селёдочнице с лучком и маслицем. Какая ж водка

да без селедочки?! А запах... Шурка покачал головой. Оглядел стол. Нахмурился. Может, картошечку сварить в мундирах или очищенную, а потом махнул рукой – и так сойдёт. Не выдержал. Душа заждалась праздника. Плеснул водочки. Поднял запотевшую хрустальную рюмку. Звучно сглотнул. И торопливо опрокинул. Соскучился. Отломил корочку чернышки. Занюхал. Передёрнул худыми плечами. И блаженно прикрыл глаза. Но тут же опять налил в рюмку и уже неторопливо, поглядев на неё на свет, выпил. И опять застыл, закрыв глаза. Выдохнул. Господи, хорошо-то как! И принялся уничтожать всё, что было на столе. Нет, он не торопился, потому что у него впереди было почти два дня свободы, а это – целая вечность. Чутьочку плеснёт в рюмку. Выпьет. Подцепит вилкой огурчик или селедочку и смакует, причмокивает, а сам жмурится, покачивая головой. Вкусотища-то какая!

Закурил. Дома не разрешали курить. В подъезд выгоняли или на балкон, а когда жены и тётчи не было дома, тогда курил, где хотел, потому что – хозяин. И сейчас закурил. Прошёлся по квартире. Постоял возле фотографии тётчи, покачиваясь с пятки на носок. И не удержался. Смачно плюнул и тут же оглянулся, словно его поймали на месте преступления и рукавом протёр рамку со стеклом. Да ну её – эту дурочку! Развизжится, если увидит следы, и не остановишь. И снова не удержался. Сначала язык показал, а потом сделал кукиш и ткнул под нос тётче.

– На-ка, выкуси! – сказал он язвительно и снова ткнул. – Вот тебе, вот... Чем пахнет, а? И тебе – вот, – он сунул кукиш в соседнюю фотографию, на которой была жена. – Ишь, спелись! Думали, что справились со мной?! Не дождётесь! – он пьяненько погрозил пальцем. – Я не тот человек, чтобы надо мной всякие там изгалялись. Я – как тот вулкан: когда раскалённая лава наберётся до краёв, начинается извержение. И тогда берегитесь. Ох, отыграюсь! В пух и прах разнесу всех, и тебя – тоже. – И ткнул пальцем прямо в глаз тётче.

Шурка смелел на глазах. Бывало, когда выпивал, он становился смелым и грозил всеми земными и небесными карами. И тогда сам себе казался грозным и неприступным. Он выпячивал худую грудь, поигрывал мышцами на тонких руках и рычал, рычал... И ему казалось, что его боятся все, в том числе тётча с женой. И Шурка гордо оглядывался по сторонам, словно хотел показать всему миру, какой он смелый. Но никого не было. Он был один в пустой квартире.

Выпил ещё рюмку. Закурил. Постоял возле окна. Деревня вспомнилась. Сразу на душе стало тоскливо. Давно не был. Что-то мать не приезжает. А батя вообще ни разу не был после свадьбы. И он разок съездил и всё на этом. Валька перестала его пускать, когда с соседкой заловила в сарае. Его не пускает, а сама тем более не ездит. Шурка пригорюнился. Сколько лет уж не был. Наверное, его давно позабыли, да и сам уж некоторых не помнит. А раньше-то как хорошо было, когда в деревне жил. Река рядышком. Рыбы немеряно, а грибов и ягод столько, хоть косой коси. Каждый год с отцом заготавливали, а потом мать готовила соленья-варенья. Столько делала, на весь год хватало и ещё оставалось. А трава какая густая – страсть. И запах, аж голова кругом идёт. Они с батей с косами на плечах отправлялись на сенокос. Мать не успевала за ними. А вечером возле костра сидели. Запах картошки, свежескошенной травы и влажной земли, а как соловьи заливались... И Шурка, забывшись, попытался выдавить из себя соловьиную трель. Не получилось. И он поник, плечики опустились, завздыхал. В деревню бы...

– В деревню бы... – пробормотал Шурка, а потом встрепенулся. – А почему бы не съездить? Тётча и жена завтра вернутся. Ближе к ночи появятся. У меня же уйма времени!

Он представил, как приедет в деревню. С форсом пройдёт по ней. Пусть посмотрят на него. Позавидуют, как в городе устроился. Будут говорить за спиной, что в люди выбился, что живёт – не чета им. А что, и правда, что живёт получше некоторых. И квартира есть, и работа, и деньги неплохие зарабатывает. Пусть тяжело,

пусть устаёт, но всё же работает – это главное. И сейчас, если приедет в деревню, не станет по друзьям бегать. Может быть, не станет... А придёт домой, распахнёт дверь и крикнет с порога: – «Ну, здравствуйте, родители! Я приехал». Мать, конечно, заплачет, а потом начнёт обниматься. А батя будет хмуриться и ус покручивать, а потом ткнёт руку, как бы здороваются, и всё это молчком. Форс держит, а по лицу видно, радуется. Посидят за столом, как принято с дороги. Какие-никакие дела поделают. В деревне всегда найдётся работа. А вечером в баню пойдут. Попарятся с батеи. До одури будут хлестаться веничком! Так, чтобы уши в трубочку сворачивались, а потом выскочат голышом и бегом до речки и с обрыва – бултых! Только брызги во все стороны разлетятся. И снова в парилку. И опять возьмутся за веники. И так несколько заходов, а потом, едва живые, будут отдыхиваться на крыльце. За столом посидят. Повечеряют. Конечно же, бутылку поставят. А как же! Сын приехал. Опрокинут по рюмашке-две за встречу. И весь вечер будут пить чай с печеньками и конфетками, да ещё с вареньем. Мамка-то мастерица варить его. А потом выйдут на крыльцо и долго будут сидеть. Отец засмолит свои папироски. Мать нахмурится и начнёт рукой разгонять дым. Заворчит, чтобы меньше курили, а то можно топор вешать. Может, соседи зайдут. Тогда начнётся долгий и неспешный разговор. Вроде бы, ни о чём разговор, а в то же время – обо всём. О жизни – тоже. Шурка не станет языком молоть, как всегда бывало, а будет сидеть и слушать всех, изредка отвечать на вопросы, ещё реже сам говорить. А больше слушать, смотреть и радоваться, что приехал домой, повидал мать и отца, а теперь сидит с ними и на душе радость, и не станет вспоминать, что на следующий день нужно возвращаться в город, потому что два дня, вроде бы, мало, но в то же время – это целая вечность...

И Шурка забегал по квартире. Сначала убрал со стола. Не то, что боялся, а так, на всякий случай. Потом стал искать одежду, в какой не стыдно показаться в деревне. Всё же давненько не был. Пусть люди подумают, что он хорошо... нет, даже лучше всех живёт. Ага, точно – лучше всех! И принялся копаться в шкафах, вытаскивая, примеряя и снова убирая свою одежду. Хотя у него и одежды было – кот наплакал. А куда ходить-то? Поэтому не покупали. Экономили. На работе дневал и ночевал, по шабашкам мотался. А редкие дни, когда их звали в гости, жена старалась одна сходить. Иначе Шурка бы напился в стельку. Не хотела позориться, как она говорила, и уходила одна. Ну и пусть! Шурка махнул рукой. Всю одежду переворошил. Ничего сногшибательного не обнаружил.

Джинсы, рубашка, куртка. Хотя... он оглянулся и достал пёстрый галстук. Потом взял с полки шляпу. Это жена купила. Сказала, так представительнее смотрится, чем в простой кепке. Ага, ещё солнцезащитные очки. Хорошая вещь, удобная. Прикрыл ими глаза, и никто не заметит, куда смотришь, да и вид посерьёзнее будет. Какой-то таинственный, что ли, – этот вид, да ещё лицо серьёзное сделать, улыбку убрать. Нечего щериться. Чем солиднее вид, тем больше уважения. Ага...

И вот он уже на вокзал торопится. В джинсах, в рубашке с пёстрым галстуком, в шляпе и тёмных очках, в руке сумка, в ней гостинцы. Пока дома искал одежду, наткнулся на стопочку денег. Это Валька накопила. Видать, что-то решила купить. Наверное, для себя или тёщи, а ему, как обычно, – шиш с маслом. Нет, даже без масла. Просто – огромный кукиш во всю рожу. Не заслужил, как сказала бы тёща. И Шурка, подвыпив, осмелел. Располовинил стопочку, потому что имел полное право, как он считал, и поехал в деревню. В магазине понабрал всякой всячины – это для мамки и для соседей, чтобы пыль в глаза пустить. Ну, а для себя и бати – три бутылки дорожкой водки и блок сигарет с фильтром – это для форсу, как сказал бы отец. Он привык курить папироски. Да и Шурка смолил «Приму», дёшево, но сердито, а «Интер» взял, чтобы перед дружками похвастаться. Что ни говори, а жизнь в городе в любом случае лучше покажется, чем в деревне, где приходится горбатиться с утра и до ночи. Да, в городе жить лучше, и зарплата повыше, а уж всякие магазины да развлечения

– это без счёта. На любой вкус, цвет и кошелёк...

И вот, едва автобус остановился и распахнул дверки, Шурка вышел. Автобус закрипел рессорами и, громокая расхлябанными дверками, двинулся в соседнюю деревню. Шурка посмотрел вслед. Потом взглянул на пологие холмы, сплошь заросшие лесом, а там речка петляет между ними, вон ветлы виднеются и черёмуховые заросли, и огороды спускаются к реке, а вон дома видны, и крыши у всех разные, возле каждого двора палисадники. И отовсюду запах земли и скошенной повядшей травы... Шурка прерывисто вздохнул. Господи, как хорошо на душе-то! Господи, как тут вольно дышится! Наверное, это и есть настоящая свобода. Свобода от всего, что человека окружает в жизни, а прежде всего свобода от самого себя, потому что только ты сам себя загоняешь в непроходимое вонючее болото, откуда, как казалось, никогда не выбраться...

Шурка завздыхал. На душе чувствовалась радость. Вот он, прикатил! Душа радуется, аж поёт. И хотелось раскинуть руки и громко закричать, чтобы все услышали – «Вот я, приехал, люди!» Но Шурка не закричал. Ему нужно было форс держать. Потоптался, осматриваясь по сторонам. Потом надвинул шляпу на глаза, поправил тёмные очки, провёл ладонью по лицу, словно стирая с него улыбку, сделал серьёзную и неприступную мину, поправил узкий пёстрый галстук, курточку повесил через руку, а в другую руку взял сумку и неспешно зашагал по улице.

Он неторопливо шагал по улице. Изредка останавливался, если кто-то по дороге встречался. Нет, не разговаривал. Он доставал пачку сигарет, прикуривал, важно кивал головой, изредка приподнимал шляпу, как бы здороваясь, и шёл дальше, попыхая сигареткой, а люди смотрели ему вслед и не могли признать, кто же это был в тёмных очках, да ещё такой важный из себя и в галстук. Не иначе, с району прикатил. Какой-нибудь лектор, а может, и начальство прибыло, кто его разберёт. Вон как важно вышагивает, словно аршин проглотил! И тыкали вслед пальцами, и шептались за спиной.

А Шурка шагал, с гордостью выпячивая впалую грудь. Он словно спиной чувствовал, что ему вслед смотрят и обсуждают. Наверное, гадают, кто такой серьёзный прикатил, да ещё в шляпе. Наверное, правду говорят, что всё дело в шляпе. По ней встречают, а провожают...

– Здравствуй, дед Макарий, – Шурка не удержался, чуть приостановился и приподнял шляпу, здороваясь со стариком, который сидел возле двора. – Как поживаете, дедушка?

Старик прищурился. Приложил ладонь к глазам, всматриваясь, а потом покачал головой.

– Не признал, – развёл руками старик. – Извиняй! Чать, по делам приехали, да? Так никого же нет в конторе. Выходной, говорят, а бригадир уехал в поле. И контора-то в другой стороне.

И ткнул пальцем, показывая.

– Это ж я, Шурка, – сказал довольный Шурка и снял очки, а потом снова надвинул на нос и повторил: – Шурка Антонов... Сын дядь Пети и тётки Марьи Антонихи.

– И правда Шурка, – закачал головой старик. – Глянь, какой важный стал. Не иначе, начальником заделался! В галстук да в шляпе. Ни за что бы ни признал, если бы не окликнул. Глянь, что город с человеком делает! В люди вышел. А мы, как жили в навозе, так и погрём в нём же.

И махнул рукой.

Едва Шурка стал подходить к магазину, как распахнулась дверь, и на улицу вышел мужичок, одетый в замасленные штаны с пузырями на коленях, такая же куртка, из-под которой была видна серая когда-то, а сейчас непонятно какого цвета рубаха с грязным воротником. Он вышел. Закурил, укрываясь от ветерка. Шагнуло было на тропинку, а потом остановился и с недоумением долго всматривался в при-

ближающего Шурку.

– Антоха, ты, что ли? – так в деревне прозывали Шурку. – Гляжу, гляжу, вроде наш, а в то же время чужой, как показалось, – и опять сказал: – Ты, что ль, Саня?

– Здоров был, Киря, – тоже, как в далёком детстве, назвал Шурка своего дружка. – Я приехал. Давненько не был. Красота-то какая!

И обвёл рукой окоём.

– Фу ты, ну ты! – Кирилл покачал головой. – Пряма начальник, да и только! – повторил за стариком: – Глянь, что город с людьми делает! Стал каким-то таким...

И неопределённо покрутил в воздухе рукой.

– А ты как был грязнулей, так и остался, – ткнул пальцем Шурка. – Наверное, ни разу не снимал, как на работе выдали. Всё та же, как мне кажется. Хоть бы постирал, а то скоро переломится от грязи.

И хохотнул, но тут же стёр улыбку с лица и сделал серьёзную мину.

– Что болтаешь – грязнуля?! Баба каждую неделю стирает, – похлопал по спецовке Кирилл. – У меня такая работа. Это у вас в городе каждый год, а бывает, почти каждый месяц дают спецовки, а у нас выпросишь одну, вот и носишь, пока не истлеет. Хоть на работу одевай, хоть на празднике красуйся. И не допросишься у бригадира. А что кладовщик? Нет распоряжений, нет спецовки и всё на этом, – и тут же спросил: – Ты надолго приехал? Домой идёшь?

– Может, и домой, – так, неопределённо сказал Шурка. – Давно не был. Решил проведать, пока свободное время появилось.

– Так это... – Кирилл распахнул куртку, и за поясом сверкнула бутылка дешёвого вина. – Одному не хочется, может, раздавим пузырьёк, а? Встречу отметим, так сказать...

И звонко щёлкнул по кадыку.

Шурка задумался. Выпить-то можно, а что потом будут говорить в деревне? Скажут, Шурка Антонов прикатил, сам из себя важный, и нет, чтобы домой пойти, он с дружкой бормотухи нализался. Каким был охламоном, таким же и остался. А с другой стороны, если посмотреть, нельзя отказываться, потому что люди неправильно поймут. Пригласили, а он отвернулся. Сразу скажут, что не уважает. А не уважает потому, что в городе живёт. Отсюда следует, что уехал в город и зазнался. И такого наговорят, такого припишут, хоть стой, хоть падай.

– Ну-у, выпить-то можно, – как бы нехотя протянул Шурка и оглянулся. – А где расположился? Не посередь улицы разливай же...

– Так это... – Кирилл завертел головой и махнул. – Айда к Петьке Нечаеву. У него баба в город уехала. Сам до райцентра добросил. У него посидим. Раздавим пузырьёк. И закусь есть. У меня всё предусмотрено.

Хохотнул и, покопавшись в кармане, вытащил помятый плавленный сырок и несколько карамелек в замусоленных фантиках.

Добравшись, Кирилл распахнул калитку, они зашли во двор и он, стукнув в окно, уселся на крыльце и закурил, попыхивая дешёвой сигареткой.

Донесли шаги. Заскрипела дверь и, пригибаясь, выглянул взлохмаченный мужик в семейных трусах и в линялой майке. Зевнул, почёсывая волосатую грудь, и забасил.

– Что надо? – он посмотрел на Кирилла. – Думал, сосну минуток несколько, а тут тебя принесло, – и опять спросил: – Что надо?

– Так это... – Кирилл запнулся, потом звонко щёлкнул по кадыку и тут же указал на Шурку, который продолжал стоять возле крыльца. – Глянь, Петька, кто приехал к нам. Столкнись на улице, не узнаешь. Ишь, как вырядился, гусь лапчатый. Пряма чистое начальство и только!

И хохотнул, наблюдая, как Петька Нечаев хотел было зевнуть, раскрыл рот и застыл, с недоумением всматриваясь в Шурку, а потом расплылся в широкой улыбке,

показывая неполный ряд выщербленных прокуренных зубов.

– Язви его в душу, – забасил он и ткнул толстым пальцем в Шурку. – Язви его... Антоха-картоха приехал! И правда не признаешь. Очки надвинул, шляпу напялил – чисто начальник. Каким же ветром занесло тебя, Санька?

И, подтянув сползающие трусы, зашлёпал босыми ногами по скрипучему крыльцу.

– Ну, здоров был, – сказал Петька Нечаев, протягивая широченную мозолистую ладонь. – Здоров, чертяка!

Шурка поздоровался. Ни улыбки, ни радости. Маска вместо лица.

– Ну, неси стаканы, – потирая руки, заторопился Кирилл и принялся выковыривать пробку. – От, затолкали, сволочи, даже не вытащишь.

– Подожди, – неторопливо сказал Шурка, вжикнул замком на сумке и вытащил оттуда бутылку водки. – Я вино не употребляю, как женился. Супруга запрещает. Говорит, мол, нечего всякую дрянь пить. И хорошую покупает. Заботливая, – и показал бутылку. – «Посольскую» за встречу выпьем. Мне не жалко.

И небрежно поставил бутылку на крыльцо.

– Ох, ты! – восхищённо протянул Петька Нечаев, взял бутылку и покрутил в руках, рассматривая. – А у нас такая не появлялась. Ну и как она, язви её в душу?

И звучно щёлкнул по горлу.

– У каждого свой вкус, – как-то уклончиво сказал Шурка. – Одни любят одеколон пить, другие дешёвое вино, – он не удержался и кивнул в сторону Кирилла. – Ну, а я предпочитаю «Посольскую». Мягкая она, чистая.

И всё это было сказано без улыбки, без всяких эмоций на каменном лице. Шурка считал, что каменное выражение лица – это первый признак серьёзности и ума.

– И часто предпочитаешь? – с ехидцей поинтересовался Кирилл. – Или купил, чтобы в деревне пофорсить? Ты же трепач! Такого нагородишь, семерым не расхлебать. – И хохотнул.

– Ну, как часто... – Шурка играл свою роль серьёзного человека. – В моей семье принято, чтобы каждое утро и в обед по стопочке, ну, а вечером можно позволить две-три на сон грядущий. В выходной, к примеру, могу бутылочку уговорить под хорошую закуску. Ну, там икорка, буженинка, сервелатик, грибочки, селёdochка с лучком, да под картошечку. Ух, за уши не оттащишь! Ага...

Сказал и, чуть склонившись, опять застыл, словно изваяние.

– Так никаких денег не хватит, чтобы столько выпивать, язви тебя в душу, – запнувшись, сказал Петька, долго шевелил губами, видать, подсчитывал, и снова покрутил бутылку. – Наверное, дорогущая, зараза?

– Не дороже денег, – так, с лёгкой небрежностью сказал Шурка. – Я достаточно зарабатываю, чтобы позволить себе такую водку. Коньяк не уважаю. И виски пробовал. Чем-то на нашу самогонку смахивает, правда, послабже будет. А вот «Посольскую» уважаю.

Качнул головой, поправил тёмные очки и снова застыл.

– А мать, как съездит в город, всё по деревне жалуется, что плохо живёшь, – сказал Кирилл и сглотнул, когда Петька принялся разливать водку. – Худой, аж просвечиваешь. И правда дохлятина! Не кормят тебя, что ли? – и тут же спросил: – А кем работаешь, если такие деньжищи тратишь на водку, а?

– Ладно, мужики, давайте-ка опрокинем по стопочке, – влез в разговор Петька Нечаев и, не дожидаясь, быстро опрокинул стопку и передёрнулся. – Фу, гадость! Как её татары пьют?!

И тут же засмеялся.

Шурка медленно выпил. Почмокал губами, ни один мускул не дрогнул, и даже не поморщился. Никаких эмоций. Слово маска на лице. Стопку на крыльцо и опять

застыл.

Взяв рюмку, Кирилл на мгновение застыл, потом двумя пальцами зажал крупный рыхлый нос, торопливо опрокинул стопку, кадык ходуном заходил, проталкивая водку внутрь, зажмурился и снова застыл, словно прислушивался, а что же внутри делается, а потом облегчённо вздохнул.

– Фу-у, привилась, кажись, – выдохнул он и, схватив кусочек плавленого сырка, стал жевать. – Вчера перебрал. Утром голову от подушки не мог поднять. Чугунная! Ага... Баба ругается, а мне и без неё тошно. Послал её. Далеко! Собралась и ушла. Наверное, у соседей сидит, на меня жалуется. Ну, сиди-сиди... Всё равно мимо дома не пройдёшь.

Сказал он снисходительно и опять потянулся к стопке.

– Послал... Это она ушла, чтобы твою пьяную рожу не видеть. Я ж смотрел, как ты на бровях полз, – басисто хохотнул Петька. – Окликнул тебя, а ты словно не слышишь. Видать, на автопилоте был, язви тебя в душу.

Опять хохотнул, звякнул полными стопками и кивнул.

Выпили.

Шурка достал пачку сигарет с фильтром. Закурил. И протянул пачку.

– Угощайтесь, – с каменным лицом сказал он и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Лёгонькие. А запашистые – страсть!

Кирилл отмахнулся. Свои достал и задымил. А Петька Нечаев кое-как вытащил корявыми пальцами сигарету, прикурил, затянулся и зашёл в долгом кашле, а потом сплюнул, затушил об ладонь окурочек и выбросил на улицу.

– Как такую дрянь люди курят – не понимаю, – продолжая кашлять, натужно сказал он. – Настоящая вата! Лучше самосад курить, чем всякие импортные. Ерунда!

Сказал, поморщился и махнул рукой.

– Ну, Антоха, хвались, как в городе живёшь, – сказал заметно оживший Кирилл. – Как баба, как сам? Вообще, рассказывай, а то твоя мамка ничего путного не говорит. Только и делает, что жалуется. Наверное, все бабы такие, – и тут же повернулся к Нечаеву. – Петька, плесни ещё грамульку. Кажись, привилась.

Шурка помолчал. Форс держал. Выпил полстопки и поставил на крыльцо. Закурил. Сквозь тёмные очки с прищуром посмотрел на дружков.

– Хорошо живу, можно сказать, – он выпустил тонкую струйку дыма. – Работа ответственная. Если меня не будет, всё производство встанет, а за ним другие заводы, потому что у нас всё взаимосвязано. Да, представьте себе...

И свысока взглянул на них, мол, видите, какой я ценный работник.

– Ох, ты, – протянул Петька Нечаев и поддёрнул широкие трусы. – А кем работаешь?

– Специалистом по древесине, – важно сказал Шурка и ткнул пальцем в очки, поправляя. – Да, можно сказать, что почти самым главным специалистом. Если я заболю, не дай бог, вся линия встанет, а за ней и производство. Делайте выводы. Это не коровам хвосты крутить или на тракторе ездить. Жена... А что жена? Как у Христа за пазухой живёт. Не успевает деньги в кубышку складывать. Вот собираемся новую мебелишку брать, и машина не за горами, а осенью, как в нашей семье принято, поедем на море. Бархатный сезон начинается. Всякие овощи там, фрукты... Немного отдохнём.

Шурку понесло. Он любил приукрасить, а сейчас не то, что приукрасить, а нагло и бессовестно врал. Много и уверенно. И так правдоподобно, что сам стал верить своему вранью.

– Да, отдохнём, а потом, полные сил, снова возьмёмся за работу, – покачиваясь с пятки на носок, говорил Шурка. – Тёщу к себе забрал. Пожалел. Одна в другом городе прозябала. Сейчас с нами живёт. Не нарадуется. Я не обижаю её. И она той же монетой платит. Ага... Не успею с работы зайти, теща мчится в ванную и воды на-

бирает, чтобы я сполоснулся. Чистый полотенчик повесит, халат прогладит, чтобы тёплый был. А жена бежит на кухню. Пока моюсь, на стол собирает. Халат наброшу. Зайду на кухню, а они ждут меня. Не успею за стол сесть, одна ложку с вилкой подаёт, а другая рюмочку пододвигает. Выкушай, кормилец, стопочку для аппетита! Ну, я немного покочевряжусь. Поковыряю вилкой в тарелке и отодвину. Говорю, мол, пересолила, в рот не возьмишь. Жена, ах, и в обмороки падает, а тёща вокруг мечется, дует на неё, нашатырку в морду суёт, в чувство приводит. А я рассмеюсь и говорю, что пошутил. Они обе: ах ты, насмешник этакий! И хохочут, и заливаются, и пальчиками грозят...

Шурка врал самозабвенно. Закрыв глаза, он говорил без остановки, а перед ним вставала картина этой жизни. Этой, про которую сочинял, а не настоящей. И ему не хотелось возвращаться в реальную жизнь, где намного хуже, чем в мечтаниях. И он продолжал врать. А друзья сидели и внимательно слушали его.

– Ты глянь, как стал жить, язви его в душу, – удивлённо покачивая головой, сказал Петька Нечаев. – Никогда бы не подумал, что так в жизни устроишься. И квартира есть, и денег куры не клюют, по курортам разъезжает, и тёща золотая, а уж про жену и говорить нечего. Всем бы таких баб. Вот бы зажали мужики, а то всю жизнь мучаются, бедняги!

И прикрыл глаза, причмокнул, представляя эту жизнь.

– Трепло, как есть – трепло, – неожиданно сказал Кирилл и отмахнулся. – Слышь, Петька, что веришь ему? Он был трепачом, им же и остался. Ты сидишь и уши развесил, а Шурка лапшу на них вешает. Болтун!

Громко сказал и ткнул пальцем в Шурку.

Шурка оскорблено промолчал. Он держал форс.

– Да ну-у... – протянул Петька Нечаев. – Он же на полном серьёзе говорит. Глянь на него. Значит, правду говорит, язви его в душу. А ты – трепло, трепло... Просто завидуешь, что человек хорошо живёт. У самого-то баба, какая. Как огня боишься её, а туда же...

И поморщился, не объясняя, куда же. Закурил. Попыхал, поглядывая на смурого Кирилла и неподвижно стоявшего с каменным выражением на лице Шурку. И мотнул головой, словно застоявшийся жеребец. Пригладил взъерошенные лохмы. Громко зевнул, почёсывая волосатую грудь, и, схватив бутылку, поровну разлил остатки водки.

– Ну, мужики, чтобы нам так жилось, – вздохнув, сказал он, выпил, посмотрел на хмурого Кирилла и добавил: – А может, и правда брешет, язви его в душу!

И покосился на Шурку.

Шурка продолжал молчать, будто не его касалось.

А Кирилл повеселел, когда на его сторону как бы встал Петька Нечаев, который тоже засомневался.

– Вот и я говорю, что трепло, и всё на этом, – махнув рукой, сказал Кирилл, а потом достал бутылку. – Что, раздавим пузырьёк, мужики?

Он сказал примирительно.

– Да ну... – поморщился Петька Нечаев. – После вина башка заболит. Спрячь. У меня самогоночка есть. Чистая, как слеза. Я утром к бабке Наумихе бегал. Купил бутылку. Как чуял, что вы заглянете. Сейчас...

И, поддёрнув трусы, скрылся на веранде.

– Будешь? – Кирилл показал на бутылку.

Шурка покосился и мотнул головой, отказываясь.

– Ну, как хотите, была бы честь предложена, – развёл руки в стороны Кирилл, а потом приткнул бутылку за пояс. – Мне больше достанется.

И хохотнул, довольный.

Вышел Петька Нечаев. В руке держал бутылку. В другой была пара огурцов и



кусок чёрствого хлеба.

– Извиняйте, язви вас в душу, не в городе живём, – сказал он и положил закуску на голые доски. – Чем богаты, тем и рады.

И потянулся за стопками.

Шурка стоял, прислонившись к перилам, и смотрел на деревню. Душа радовалась при виде домов и палисадничков, а там видны поля. Одни уже золотом покрываются, а другие ещё в зелени стоят. А там речка кружит между пологими холмами. Её легко проследить. По берегу ветлы растут да черёмушник стеной. Хорошо видно! А вдоль речки стадо бредёт. Наверное, на водопой пригнали. Вон, кучкуются. Напьются и будут отдыхать, пока пастух не поднимет. Загавкала собака и куда-то промчалась мимо двора. Следом заголосил петух. Громко, протяжно, и тут же завторили другие, стараясь друг дружку перещеголять. Господи, хорошо-то как!

Шурка вздрогнул, когда ему ткнули в бок и стали совать стопку с самогонкой.

– Не буду, – сквозь зубы процедил Шурка. – Не уважаю самогонку.

Да, он мог бы достать ещё бутылку, и ещё одну, а что же отцу-то принесёт? Чем его угостит, когда из бани вернутся? Нет, не жалко было. Он не мог пустым домой прийти. Всё же в гости приехал. Всё же из города прикатил. А в городе, что ни говори, другая жизнь. Куда намного лучше деревенской, да и денег побольше получает, чем они – родители. И вообще, у него жизнь удалась. Пусть смотрят и завидуют.

Господи, как же он соскучился по деревне. По деревне и по отцу с матерью.

– Я пошёл домой, – сказал он и поправил шляпу, ткнул пальцем в тёмные очки и шагнул к калитке. – Давно не был. Мои, наверное, заждались. И работы накопилось, пока меня не было. Нужно помочь.

– Ну, если не хочешь выпить... – протянул Петька Нечаев и почесал волосатую грудь. – Мы одни уговорим пузырьёк, да, Киря? – и тут же опять к Шурке. – Твой батя крышу латает. Прохудилась. А ты, Антоха, когда обратно собираешься?

– Завтра уеду, – чуть приостановившись, сказал Шурка. – Работа ждёт. Мне нельзя подводить людей. Иначе всё производство встанет. Незаменяемый человек, так сказать. Как-никак, считаюсь самым главным специалистом по древесине.

Сказал и направился по тропинке.

– Трепло, – вслед буркнул Кирилл и подставил стопку. – Наливай, а то выдохнется.

– А мне кажется, что не врёт, – засомневавшись, забасил Петька Нечаев. – Глянь, какой серьёзный. Даже ни разу не улыбнулся. И в шляпе, и с галстуком. Как пить дать – начальник, язви его в душу. В люди вышел. Ну, Киря, вздрогнем...

Он опрокинул стопку и весь съёжился, замотал головой и поморщился.

– Ох, крепка!

А Шурка неторопливо шёл по деревне. Он смотрел по сторонам, приподнимал шляпу, здороваясь с соседями. Одни узнавали его, а другие не признавали и сидели, всё гадали, кто же это приехал.

А он степенно шагал, и в душе была радость. Глядел по сторонам и радовался каждому дому, каждому встречному человеку и даже чёрной лохматой собаке, которая мимо него пробежала и не гавкнула. За своего приняла, а может, и признала. Хоть Шурка живёт в городе, где, как казалось, жизнь лучше, а всё-таки в душе остался деревенским.

Он шагал и старался не думать, что завтра вернётся в город, и опять начнётся эта проклятая жизнь, от которой он сбежал. Сбежал всего лишь на два дня, но и этого было достаточно, чтобы в его душе появилась искренняя и большая радость, потому что Шурка приехал не в гости, он вернулся домой, где всегда его ждут.

Всего два свободных дня, вроде бы так мало, но в то же время – это целая вечность.

## **Души людские**

Старый двор. Дом в три этажа колодцем. Окно в окно. Вся жизнь на виду, от рождения и до последнего дня. Там подворотня, здесь подворотня. Редкие машины, но частые прохожие. Рядом остановка и магазины. И течёт река человеческих тел. Бежит, разбиваясь на ручейки. Некоторые из них торопятся вдоль улицы, а другие ручейки прозвенели в подворотнях, и разбились на людей-живчиков, одни дальше заструились, а другие в магазины завернули, снова выкатывались на улицу, опять соединяясь в ручейки, и растекались по многочисленным улочкам и переулкам, и чем дальше, тем тоньше ручеек становился. И хлопали двери в подъездах, за которыми люди-живчики скрывались. Зажигались окна в домах. Наступил вечер...

Захар Носов вернулся с работы. Отделился от узенького ручейка, поздоровался с соседями, которые сидели на лавке, и живчиком вкатился в подъезд. Насвистывая, взбежал на третий этаж, где у него была небольшая однушка. Хлопнул дверью и вздохнул, радуясь, что наконец-то наступил вечер и можно немного отдохнуть. Переоделся. Натянул трико. Набросил рубаху. Заглянул в холодильник. Суп в кастрюльке, плавленый сырок на полке, рядом пачка маргарина и яичка с десятком яиц. Махнул рукой и захлопнул холодильник. Схватил чайник и сунул под кран. Зашипела вода. Громыкнул чайником по плите. Ужин будет попозже, а пока вскипятит чай. Налил в кружку. Сыпанул туда пять ложек сахара. Захар любил сладкий чай. Откромсал толстый кусок хлеба и подошёл к окну, которое выходило в небольшой, но в то же время, как ни странно, светлый внутренний дворик. Солнце не только заглядывало сюда, оно будто бы задерживалось, хотя в других таких же дворах было мрачно, сыро и холодно, а первый этаж, казалось, вообще не видел солнечных лучей, зато в их дворе... Солнце заглядывало, и дворик становился ярким, светлым и тёплым, но всю картину портила огромная куча мусора, что возвышалась на месте давно забытой большой клумбы, которая была посреди двора. Многие годы на ней скапливался всякий мусор, который бросали из окон, туда же вытаскивали старую мебель, надеясь, что мусорная машина увезёт, но она не забирала, и старьё копилось годами – культурный слой, так сказать. Здесь же валялись разобранные строительные леса и прочий строительный хлам, будто другого места не нашлось. Всё бы так и лежало, но недовольные жильцы всё чаще стали писать во все инстанции, что единственную клумбу – этот зелёный оазис в пустыне, этот островок счастья посреди каменных джунглей – захлामीли до такой степени, что даже старые жители не могут вспомнить, как она выглядела, эта клумба. И людям приходится заниматься чуть ли не акробатикой, преодолевая все препятствия, лишь бы добраться до подъезда. А скоро, если не будут приняты самые наистрожайшие меры, двор превратится в один огромный мусорный бак, потому что хлам уже местами возвышался выше первого этажа, и людей ждёт верная смерть. Жаловались до тех пор, пока не приехала комиссия, которая заставила нерадивых руководителей очистить двор. Очистили. И правда, перед глазами жильцов появилась заброшенная и давно забытая клумба. Попервоначально местное руководство пытались облагородить двор, чтобы перед комиссией отчитаться. Привезли несколько машин земли. Вывалили на клумбу. Высадили хиленькие ростки неизвестных цветов, сфотографировались на фоне клумбы вместе с жильцами, напечатали в газете и всё на этом. Забыли про клумбу. За ней же надо ухаживать, а присматривать некому, как сказали на общем собрании. Не нашлось желающих, которые согласились бы кланяться каждой дворовой клумбе, хотя по пальцам можно было пересчитать все клумбы, которые были в городе. И, сославшись на тяжёлое положение, на нехватку рабочих рук, а тем более денежных средств, руководство с чистой совестью отказались от содержания клумбы, но тут же согласились, чтобы жители своими руками сделали из двора цветник, но на свои кровные

деньги. И даже пообещали, что включат двор в международные соревнования на самую красивую клумбу планеты. Правда, о своём обещании быстро забыли, потому что есть дела поважнее, чем заброшенная клумба.

Долго жители ломали головы, что сделать на месте этой огромной клумбы. Первыми высказались владельцы машин, которые предложили построить гаражи, чтобы машины были на виду, но многие воспротивились. И так гари достаточно в городе. Не продохнуть. Не хватало, чтобы ещё в родном дворе устроили автомастерские. И отказались. Потом собирались вкопать столбы и натянуть верёвки для сушки белья – это на собрании предложили, но опять многие отмахнулись. Бельё можно и на балконе посушить, а двор – это не прачечная – это место общения всех соседей. А-а-а, если место для общения, тогда давайте-ка поставим беседки, чтобы вечерами можно было в домино поиграть или в какие-нибудь игры. К примеру, в подкидного дурака, а можно на интерес, чтобы скучно не было – это предложили мужики, но женщины наотрез отказались. Достаточно городского шума, а тут до ночи будут доминошками стучать, да орать, как резаные, а потом, когда взрослые по домам разойдутся, молодёжь со всей округи станет собираться, начнут вино пить и ругаться непотребно, на гитарах бренчать и горланить песни до утра. Ни днём, ни ночью никакого покоя жильцам не будет. Отказались. А потом кто-то предложил, что опять нужно цветочную клумбу сделать, потому что вокруг только асфальт и бетон, камень и стекло, и ничего такого, чтобы глаз радовало, чтобы душа отдыхала. И все единогласно проголосовали за цветник, но не у каждого была возможность им заниматься, и тогда старухи проявили инициативу и быстренько прибрали клумбу к своим рукам. Теперь почти у каждой был свой клочок земли или садик, как они ласково называли, где старались посадить всё, что угодно, и даже больше того, лишь бы глаз радовало, и душа отдыхала в этом каменном колодце среди кирпично-железобетонных джунглей. А две старухи рябинки посадили. И отстаивали право на жизнь этих саженцев. Говорили, что каждый человек просто обязан посадить хотя бы одно дерево в своей жизни, и грудью встали на защиту своих насаждений. Отстояли. Старухи готовы были дневать и ночевать возле своих садиков, лишь бы кто-нибудь из недоброжелателей не выдрал из земли посаженные цветочки. Врагов хватало. Внутренних врагов был полон двор, как они считали, да ещё включая внешних – прохожих, которые нескончаемым потоком движутся через двор. С раннего утра и до позднего вечера старухи стояли на охране своих цветов и саженцев или сидели на лавочках возле садиков и обсуждали новости. А новостей было много, как мирового масштаба, так и дворового, где вся жизнь проходит на виду, где ничего не скроется от дотошных старух. И всё нужно обсудить, постановить и вынести решение.

Старухи жили дружно, а, бывало, под хорошее настроение даже разрешали соседям посидеть с ними на скамейках возле садиков. Правда, редко, но такое случалось. Хвастались своими цветами, но близко не разрешали подходить. А чужих вообще не пускали в свой мирок. Машины тем более гнали со двора. А то понастанвят, кому не лень, не продохнуть от дыма, поэтому цветы вянут. И гнали всех, кто даже на минутку заезжал во двор. Нечего делать. На улице оставляйте свои колымаги, а тут нельзя, потому что здесь всё создано для отдыха человека, чтобы глаз радовался, а душа тем более. А вот прохожие постоянно ходили через двор. Этих не остановишь. Двор-то проходной, тем более, что рядышком магазины и остановки. Лайся не лайся, а они ходили, и будут ходить, потому что проходные дворы для этого и созданы. И прохожие-живчики постоянным ручейком журчали через двор. Одни шли, не обращая внимания на клумбу и садики. Насупившись, словно думу великую думают, они шагали, не замечая ворчливых старух. Глаза в землю и торопятся. Останови и спроси, что увидел во дворе, они два слова не свяжут, потому что ничего не видели, кроме людей, впереди идущих, и дороги под ногами, потому что головы забиты другими заботами и некогда смотреть на всякие клумбочки-садочки. А были

такие, кто шагал, с любопытством поглядывая на цветущие островки среди асфальта и каменных домов, потому что нечасто увидишь такое в этих железобетонных джунглях, где не только деревья, даже трава не растёт на газонах, потому что земля в камень превратилась. А здесь зашёл и как в сказку попал. Рады бы остановиться да посидеть на одной из лавок, что стояли возле клумб-садиков, но сзади подталкивали прохожие, и старухи прогоняли всех, потому что разреши одному посидеть на своей лавке, потом отбоя не будет от желающих, и не дай бог, если начнут цветы рвать. По этому – запрещали...

У Захара тоже был небольшой клочок земли. В наследство от родителей достался. Правда, он ничего не сажал. Не тянуло к этим лютикам-цветочкам, и на то была веская причина, как он считал. Зато нравилось наблюдать, как старухи воркуют над цветочками. Вернётся с работы, ужин разогреет, потом возьмёт кружку с чаем и устраивается на широком подоконнике. Сидит, чай пьёт, сигаретку покуривает и сверху смотрит на яркие разноцветные клочки среди серо-жёлто-каменных стен и разбитого асфальта. Сверху не рассмотришь, что старухи посадили, но все цветущие клочки на клумбе превращались в яркую мозаику, если в окно выглянуть. Каждая старуха старалась перещеголять остальных, приобретая диковинные семена, и ворковали, чуть ли не пылинки сдували со своих цветочков, окружая каждое растение заботой и лаской, и поэтому цветам было вольготно, они росли яркими, красивыми и ухоженными. Правда, клочок Захара пустовал и смотрелся чёрной заплатой на цветастом фоне. Многие старухи выпрашивали его, даже деньги предлагали, а он не отдавал. Жалко было, а почему – не мог объяснить. Может, надеялся, что когда-нибудь в будущем, когда станет одним из таких же, как они... А потом неожиданно отдал соседке, хотя она не просила его. По дворовым меркам, его соседка, баба Вера, недавно заселилась в этот дом, а вот Захару казалось, что она вечно жила здесь, как и остальные старухи. Баба Вера сторонилась других. Неразговорчивая была. Взглянет исподлобья и торопится домой. Но если старухи замечали, что она стоит возле клумбы и шепчет, сразу прогоняли. Баба Вера не спорила с ними, а молчком уходила. Во дворе ничего про неё не знали. Она появилась после войны и во дворе считалась новенькой, потому что в этих домах некоторые семьи ещё до революции жили, а потом квартиры переходили детям, а те в свою очередь передавали по наследству своим детям. Здесь знали про каждого всё и даже больше того, чуть ли не до седьмого колена, как говорят, а вот про бабу Веру ничего не известно. Она перебралась в этот дом из соседнего городка, с собой несколько узлов, кое-какая обшарпанная мебель и всё на этом. Не водила дружбу с соседями. Поздоровается и молчком в подъезде скрывается. Бывало, соседки останавливали её, а она будто не слышит. Вроде, вся жизнь двора на виду, а про неё ничего не могли сказать – это злило и ещё сильнее подогревало любопытство. Но с Захаром здоровалась она, если сталкивались. А бывало, улыбнётся, заметив его, но тут же стирает улыбку с морщинистого лица, словно не хочет, чтобы видели улыбку, но скорее всего не хотела, чтобы в её душу лезли, ни о чём не расспрашивали и прошлое не ворошили. Да, наверное, так и было...

Захар давно заметил, как соседка поглядывала на остальных старух, у кого были садики. Бывало, подойдёт и с места не сдвинется, смотрит на цветы, а сама что-то шепчет, а потом говорит, что цветы – это души людские. Старухи прогоняли её, думали, порчу наводит. Баба Вера уйдёт, а потом снова приходит и всё на цветы смотрит, а у самой губы шевелятся, будто разговаривает с ними. Одна жила, как и Захар. О себе ничего не рассказывала, и другим в душу не лезла. Единственное, что сказала, что у неё родных не осталось. Одна на белом свете. Наверное, поэтому он решил отдать землю, что такую же одинокую родственную душу встретил. Он тоже ни с кем не общался. Привет, привет, как дела, и всё на этом. И торопился домой. Он привык к одиночеству. И баба Вера была такой же.

Однажды Захар, возвращаясь с работы, остановил маленькую старушку. Сказал, что решил отдать землю ей, но временно, и потребовал, чтобы каждый месяц ставила бутылку. За аренду, так сказать. Баба Вера обрадовалась, что клочок земли появился, а он бутылке на халяву. Предупредил старуху, что земля его, почти собственная. По наследству досталась, так сказать. Это он так, на всякий случай сказал. Старуха закивала головой. А потом вскопала клочок земли, принесла небольшие узелки. Из одного высыпала землю на клумбу, из другого семени разбросала, где густо, а где пусто. Ладонями землю разровняла. Воду принесла. Полила и всё на этом. Старухи посмеивались, какой же дурак среди лета цветы сажает, а она молчала. А потом появились первые цветы. Не такие, как другие сажали, кто кого переплюнет, а самые что ни на есть простенькие, словно собирала семени, где ни попадя, и высадила, лишь бы клочок земли занять. Одни, едва появившись на свет божий, уже зацветали, а другие выше поднимались, а третьи только ещё проклёвывались, а некоторые вымахали высокими и кустистыми. Одни едва рождались, другие цвели, а третьи уже состарились. Всё, как у людей, или – похоже на людей...

Баба Вера каждый вечер приходила в садик. Выносила табуретку, садилась лицом к цветам и принималась что-то рассказывать, словно с кем-то разговаривала. Первое время соседки пальцами крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, а потом замолчали. Ну, как замолчали... Ругались, что её простенькие цветы, больше похожие на сорняки, перебираются на их участки, где вовсю горят-полыхают всевозможные яркие и ухоженные цветы, которым место на выставке, а не рядом с полевым разноцветьем. И так было всегда, когда наступал вечер, и все собирались возле садочков, но баба Вера не обращала на них внимания. Она сидела и разговаривала с людскими душами...

И сейчас стоял Захар перед окном и смотрел, как возле своих садиков сидели старухи, а мимо них торопились люди. Много. Словно муравьи. Друг за другом. У каждого пакеты в руках. В магазин заходили, а теперь домой торопятся. Муравьи-живчики. Сейчас выскочат через другую подворотню, а там неподалёку остановка. Хочешь, езжай на автобусе, а решил пешком пройтись, можешь отправляться проходными дворами, если не заплутаешься, или начинай колесить по улицам. К примеру, поверни пять раз налево, семь раз направо, потом через три проулка, там будет кинотеатр, но туда не заходи, а шагай по главной аллее через парк, где раньше был большой фонтан, на месте которого поставили общественный туалет, потом в ту сторону поверни, в эту два раза и попадёшь на перекрёсток, и шагай на все четыре стороны, куда тебе нужно. Вся жизнь – это дорога. И ничего в жизни не видишь, кроме дороги. И везде нужно успевать. А нужно ли торопиться? Кто знает... С самого рождения и до своего последнего дня суетишься: садик, школа, институт, работа, пенсия – если доживёшь, конечно, а впереди ожидает кладбище – финишная черта этой самой жизни, и лишь там человек находит покой...

Захар часто вспоминал родителей. Вся жизнь – беговая дорожка. Везде нужно было успеть. Работа, дом, снова работа, и редкий раз выезжали за город, чтобы побродить по лесу. Тогда родители превращались в детей, которые носились по лесу, восторженно вскрикивали, чуть ли не в ладоши хлопали, заметив яркого дятла на дереве, или натыкались на полянку, полную ягод, и ползали на коленях по траве. Срывали спелые ягоды и ели, и баловались, размазывая сок по лицам, а потом приходилось возвращаться в город и снова начиналась жизнь по кругу – работа, дом, работа, дом, а по вечерам небольшой отдых для души: посиделки возле своего садика... Как заведённые. Жизнь пролетела, а они не заметили, как состарились. Так и ушли друг за другом. Как были в жизни вместе, и там оказались вдвоём, оставив Захару однушку, продавленный диван и раскладушку, многочисленные полки с книгами, холодильник на кухне и клочок земли, где выращивали цветы, где душа отдыхала. Вот всё богатство, какое они заработали за долгую, но в то же время то-

ропливую жизнь. И Захар, сколько лет прожил один, но ничего, кроме книг, в доме не прибавилось, и к садику он был равнодушен. Не интересовался новыми вещами, и в земле не хотелось возиться, лучше из окна глядеть, как старушки воркуют в своих садочках. Захар не гнался за красотами жизни. Есть на чём поспать, есть из чего поесть, и хватит, а по вечерам, если не пошёл шататься в одиночестве по городу, можно книжку почитать или в окно поглазеть на старух, но самого не тянуло возле садика сидеть – цветы охранять. А может, будет сидеть, когда его время придёт. Захар привык к одиночеству. Ни друзей, ни жены. Не хотел жену приводить в дом, чтобы никто не влезал в его одиночество. Были временные девки. Девки-однодневки, как он называл, которые не задерживались в доме. Но даже однодневкам не нравилось, как он живёт. Ну и ладно, говорил он, вслед махая очередной девке. Меньше заботы. И опять возвращался к привычной жизни. Работа, дом, а по вечерам сидел на подоконнике и читал свои книги или наблюдал за соседками, которые устраивали посиделки, а в выходные, если солнце заглядывало во двор-колодец, старухи грелись под тёплыми лучами и в такие минуты становились добрее, что ли, разрешая соседям посидеть возле садочков...

Захар стоял возле окна, наблюдая за цветочной мозаикой. «Ты посмотри, – думал он, – вроде бы, повсюду камень, а, гляди ж ты, цветы растут. Это ж сколько в них силы заложено, чтобы с камнями справиться. Ну и что, что земля насыпана, так корни же вглубь лезут, а там камни. Наверное, между ними протискиваются. О, как жизнь любят! Не то, что люди. Чуть что не так, и всё – отдал концы, а растения – это ого-го! Растения – это сама природа, можно сказать». Он часто вспоминал, как однажды с мальчишками залез на крышу и там, за трубой, в местечке, защищённом от ветра, росла кроха-берёзка: тоненькая, хрупкая и светленькая. Она прижималась к кирпичам, словно защиты просила, а они прикрывали её от ветров да холодных дождей. Пацаны хотели выдернуть берёзку, но Захар вступился. Разодрались на покато́й крыше. Ладно, кто-то из окна заметил и крикнул, а то неизвестно, чем бы драка закончилась. С той поры Захар частенько поднимался на крышу. Съездит на окраину города, в кулёк или пакет насыплет хорошей земли и торопится к своей берёзке. Вывалит под корни, потом притащит бутылку с водой. Польёт и, казалось, берёзка радуется. Усядется рядышком и начинает мечтать, а бывало, вспоминал, как с родителями ездил в лес. Но однажды залез на крышу и увидел, что его деревце валяется, а возле него электрики работают. Вырвали, чтобы не мешалась. Захара обвинили, что из-за дерева замкнуло провода, и весь дом... да что дом, почти весь район остался без электричества. «Не врите!» – крикнул Захар, подхватил берёзку и побежал в садик, который родители сажали. Руками выкопал ямку, посадил деревце, надеясь, что будет расти, но, видать, корни повредили, когда топтались по ней. Засохла берёзка. С тех пор Захар не любил ни деревья сажать, ни цветы выращивать. Жалко было, что они умирают...

И сейчас стоял, смотрел на цветы. В душе радовался, но в то же время понимал, что эта красота не вечна, и пройдёт всего лишь немного времени, и цветы завянут, а осенью вообще оголится земля. Следом метели закрутят и скроют под снегом садики. Останутся снег и камень. И снова будут старухи до весны ждать, когда сойдёт снег, и прогреется земля, чтобы опять выйти, посадить цветы и до глубокой осени за ними ухаживать, над каждым цветочком трястись и всех прогонять, лишь бы не сорвали. А его соседка, кому он отдал во временное пользование свой клочок земли, она не тряслась, как другие. Рассыплет семена, ладошкой пригладит, словно приласкает, и ждёт, когда они проклюнутся. А потом до снега сидит возле неприметных цветков и разговаривает с ними. У других давно уж завяли цветы, и они по домам разошлись, греются, а баба Вера всё ещё выходила к садику, где продолжали радовать глаз простенькие цветочки. Одни отцветали, а на их месте появлялись другие, и так до самых холодов. Соседка радовалась, что никто не мешает её одиночеству. При-

нарядится, словно на свидание отправлялась. Даже казалось, будто молодела, пока рядом с цветами сидела. И так каждый раз...

Старухи, какие ухаживали за своими садиками, понемногу привыкли к этой странной соседке, которая с ними не общалась, не сидела на лавочке и не перемывала кости жильцам, а чаще находилась возле своего разноцветья, которое и цветами как-то стыдно было называть, как им казалось, если взглянуть на их садики, где во всей красе благоухали всеми цветами радуги цветы, которым место не на клумбе, а в ботаническом саду или на выставках. И как-то неприглядно смотрелось простенькое разноцветье рядом с этими выставочными экземплярами. Но больше всего старухи были недовольны, что эта соседка позволяла прохожим посидеть на её лавочке и отдохнуть. Правда, цветы не разрешала рвать. Всем твердила, что цветы – это души людские. И ежели кто сорвёт цветок, значит, тот погубит душу человека. Многие смеялись над ней, а некоторые пальцем крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, но баба Вера не обращала на это внимания. Пусть болтают, что хотят...

Захару интересно было наблюдать за клумбой. Сидит на подоконнике, чай пивает или курит, а сам смотрит на мозаику. И правда, как мозаика эти цветы. Все-кие: яркие, всех цветов радуги, лишь у его соседки были простенькие цветочки, но они вида не портили. А наоборот, что-то такое было в них, что связывало все цветы воедино. Казалось, выдерни яркое разноцветье у любой из старух и ничего не изменится, потому что у других почти такие же растут. А вот если вырвать у его соседки цветы, и всё – мозаика распадётся. Если повнимательнее взглянуть на цветы, можно даже хозяев представить. Может, и правда души людей переселяются в цветы, как баба Вера говорила. Всё как в жизни – у одних она яркая и многоцветная, как конфетная обёртка, но душа пустой окажется, а у других с виду непримечательная, а копни поглубже и увидишь, сколько тепла или добра в этом человеке находится, который со всеми делится и ничего взамен не требует. Каждому человеку, как и цветку, уготована своя жизнь. Одни пытаются прыгнуть выше головы и разбиваются, ничего не достигнув, некоторые взлетают, но быстро сгорают, а другие довольствуются тем, что свыше дадено. Значит, после смерти у каждого человека будет свой цветок, где его душа найдёт покой. Видимо, так оно и есть...

– Баб Вера, – стукнул по двери Захар и, заметив, что незапертая, удивлённо качнул головой и зашёл. – Слышь, баб Вер, а что дверь нараспашку? Я что пришёл-то...

Сказал и прислушался. В квартире было тихо.

Захар потоптался в прихожей и не удержался, направился к приоткрытой двери, с любопытством осматриваясь по сторонам. Он впервые зашёл к ней домой, хотя она всю жизнь прожила здесь, как казалось Захару. Сама ни к кому не ходила и к себе не приглашала, а кто и заходил, того дальше порога не пускала.

– Баб Вера, что молчишь? – опять окликнул Захар, продолжая осматриваться. – Эй, есть кто живой?

Сказал и заглянул в зал.

В зале стояли диван, круглый стол, возле него два или три стула. В углу старая этажерка, виднеется пара книг да какие-то журналы. Отдельно лежат газеты. Застиранные занавески на окнах. Возле стены обшарпанный комод. На стене фотографии в чёрных рамках. Захар закрутил головой. Темно. Оглянулся, а потом щёлкнул выключателем. Вспыхнул жёлтый тусклый свет под абажуром. Прислонившись к комоду, Захар внимательно всматривался в фотографии. Если хочешь узнать о прошлом человека, смотри фотографии – они многое могут рассказать. И правда, на снимках два старика, дядьки с тётками, моряк в лихо заломленной бескозырке, детская фотография, а на одном снимке узнал свою соседку, которая стояла рядом с парнем. Совсем молоденькие. Оба напряжены. Он хмурится, стараясь выглядеть постарше, а она испугана, того и гляди заплачет. Оба пристально смотрят в одну точку.

Наверное, фотограф велел. Так и получились на снимке...

Захар повернулся, когда услышал шаги. Рядом с ним стояла соседка и смотрела на него, на фотографии, сама хмурилась, но молчала, а другого давно бы выгнала. Захар хотел было спросить и потянулся к фотографиям, но она покачала головой и придержала его за руку.

– Не тронь, Захарушка, – непривычно, но в то же время ласково назвала его. Так только мать звала в далеком детстве, а теперь и она, даже интонации были похожи. – Не тронь, Захар, – повторила соседка. – Много лет никто к ним не прикасался. Это память. Фотографии – это единственная память о нашей семье и моём Захаре, который воротился с войны, а в мирную жизнь не вернулся.

– Как так? – Захар мотнул головой. – А куда он делся?

– Война его забрала, хотя и закончилась, – запнувшись, словно решая, рассказать или нет, сказала баба Вера, а потом кивнула на диван. – Присядь, Захарушка...

Сказала и сама рядышком пристроилась.

– Я никому не рассказываю о своём прошлом. Оно – тут, – и баба Вера ткнула себя в грудь. – Это моя радость и беда. Прошрое останется со мной. Ты спросил про мужа? Так вот... Его Захаром звали, как и тебя. Мы перед самой войной свадьбу сыграли, – сказала соседка. – Всего лишь неделю прожили и война началась. Налюбовиться не успели, как моего Захара забрали. Сфотографировались с ним, когда на войну уходил. Сказал, мол, гляди и меня вспоминай. Так и получилось. Он с первых дней на фронте, а я посмотрю на снимок и все думы о нём, лишь бы живым вернулся. Любой. Без рук и ног, но вернулся. Каждый день весточки ждала от него, каждому письму радовалась. Читала и перечитывала до дыр. В стопочку складывала. Мечтала, когда он вернётся, вместе будем перечитывать. А в конце войны письма перестали приходить. Я не знала, что и думать. Если убили, где похоронка? Если без вести пропал, почему не сообщили? А если живой, так отчего не написал? Вот эти вопросы мучили меня. Вроде, есть человек, а в то же время исчез. Пропал. И никакой весточки от него. Был и пропал, я бы так сказала. Но если нет никаких вестей, значит рано хоронить. У других же бывало, что чуть ли не с первого дня ни одного письма не получали, а потом объявлялся жив и здоров. И я верила, что мой Захар живой. Вытащу фотографию и разговариваю с ним, словно он рядышком сидит. Обо всём говорила, но чаще вспоминала нашу прошлую жизнь и мечтала о будущей, как война закончится, он вернётся и мы заживём, и детишек будет семеро по лавкам. Сама мечтаю и кажется, он слышит меня и отвечает. Понимаешь, верила, что он живой. Сердце подсказывало. Сколько говорили, что понапрасну жду, а я продолжала надеяться, что мой Захарушка вернётся. И не ошиблась. Однажды тётка Авдя, соседка наша, пришла и говорит, будто видела на вокзале в соседнем городке калеку безногого. На моего Захара похож, такой же молодой, но весь седой. Подошла к нему, окликнула, а он прогнал её, сказал, мол, ошибаешься, тётка, он случайно попал в этот город, а сам будто бы живёт на краю земли. Она рассказывает, а у меня сердце ёкнуло. Подхватилась и помчалась туда. Не заметила, как десять вёрст промелькнули. И не удержалась, ноги подогнулись, когда калеку увидела. Издалека поняла, что это Захар. Пьяный. На тележке, пристёгнутый. Он сидел возле привокзальной столовой. Я кинулась к нему, а ноги не держат. Упала перед ним, заголосила. А потом бросилась обнимать его и целовать, а сама и смеюсь, и плачу, его ругаю, что ж ты, такой-сякой домой не едешь, я ж все жданки проела, все глаза проглядела. Он увидел меня, отдёргнулся, весь затрясся, аж белый стал, принялся матюгаться и всё норовил оттолкнуть, мол, обозналась ты, девка. А как я могу обознаться, если каждую чёрточку, каждую родинку знаю наизусть? Снова сунулась к нему, а он в кошки-дыбошки, мол, если не отстанешь, изувечу!

И замолчала, о чём-то задумавшись.



И Захар молчал, опасаясь нарушить эту тишину.

– В общем, через ругань и тычки, но всё же уговорила и забрала его домой, – покачиваясь, сказала она. – Привезла. Своей бани не было. Нагрела воды и ну его намывать. Только пена и мат во все стороны летели, а я молчала. Плакала, что на нём живого места не было. И радовалась, что мужик возвратился домой. Пусть изувеченный, но главное, что живой. Теперь заживём! У других никого, а у меня хоть калека, но вернулся. Да, радовалась, только недолгой моя радость оказалась...

И опять замолчала. Долго сидела, а потом встрепенулась.

– Стали жить, – продолжила она. – До войны мечтали об одной жизни, а на деле по-другому получилось. В первый же вечер потянулись соседи, чтобы про своих мужиков спросить, у кого с войны не вернулись. Шли узнать, не встречал ли их. Двери не закрывались. И не выгонишь. Сама такой же была. Они спрашивают, а его трясти начинает. Не хотел вспоминать войну. Да, так и было... А бывало, что плакал. Отвернётся, а у самого плечи ходуном ходят, а спроси, сразу огрызался, если сунешься пожалеть, матюгами обложит. Я понимала, не на меня злится, а на себя, что такой молодой и калека. До войны был шофёром. Вернулся калекой. Однажды бегу домой и вижу: сидит мой Захарушка возле чужой машины и гладит колесо, а у самого слёзы на глазах. Кинулась к нему, а потом остановилась, а у самой сердце словно в кулак сжали, аж не продохнуть. Всё бы отдала, чтобы вернуться к прошлой жизни, но не получилось. Захар молодой, ему жить да жить, а он не выдержал и запил. Крепко. Я на работу, а Захар к ближайшему магазину или на рынок. Там всегда находились сердобольные люди. То деньги сунут, то угостят. А к вечеру лыка не вяжет. Вернусь, а его нет. Бегаю по улицам, его разыскиваю. Найду, домой волоку. А утром снова на работу. И так каждый божий день. В общем, сломался мой Захар. Его можно понять. Жена молодая, а он калека. Здесь бы ребятишек рожать и рожать, упущенные годы навёрстывать, а он ни на что не способен, и на детей – тоже. Я работаю, а он инвалид безногий. Я расцвела, когда его нашла, обрадовалась, что мужик домой вернулся, а он себя поедом ел, что не погиб на фронте, что калеки никому не нужны, а жёнам тем более. И покатился по наклонной. И чем дальше, тем быстрее. Ночами воевал. Нет, не со мной. В атаку ходил. Он же в пехоте воевал. Очнись от крика: «Взво-од, за мной!». Кинусь, а он лежит и трясется. Вроде, смотрит на меня, а не видит. Криком исходит, поднимая солдат, аж пена на губах и глаза белые, и всё обрубками ног шевелил, словно бежит... Трясу его, трясу, он не слышит. Он бойцов в атаку ведёт. И умер в атаке. Вскинулся, закричал, взмахнул рукой и захрипел. Бросилась к нему, а он не дышит. Сердце остановилось. Осколок рядом был. Сдвинулся, и не стало моего Захара. Вот и получается, что на войне погиб, хотя война давно закончилась, – помолчала, а потом не сказала, а выдохнула: – Не уберегла его. Себя буду винить до последнего дня своего, что не сберегла мужа, что времени на него не нашла. Его бы приласкать, чтобы душа оттаяла, присесть и поговорить лишний раз, а я на работу бежала. Если б рядышком была, думаю, выходила бы его. Потихонечку, но вернула к жизни. А у меня не получилось. Чуть свет уходила на работу и поздно возвращалась, а мой Захарушка оставался один на один со своими думами и бедой. До войны песни любил петь, а вернувшись, замкнулся в себе. Не то, чтобы песню, слова из него не вытянешь. Так и ушёл от меня, не поговорив по душам. Поэтому виню себя в его смерти. Себя и никого более. С той поры одна осталась на всём белом свете. Такого, как Захар, не найдёшь, а другие не нужны. Памятью живу. Всё, что было хорошего в моей жизни, осталось в прошлом, а впереди один мрак и ничего более...

– А это кто? – не удержался Захар и кивнул на фотографии.

– Там бабака с дедом, родители и младшие братья с сёстрами, – тихо сказала баба Вера. – У нас была большая семья. Никого не осталось. Я ж замуж вышла, и к Захару уехала. Он в городе жил. Потом война началась. Захар ушёл на фронт, а меня

с заводом в тыл отправили. Сколько писала домой, никто не ответил, а потом узнала, что отец на фронте погиб, а мать и младших фашисты расстреляли. Окружили деревню, где они прятались, согнали к оврагу, там и расстреляли. Немногие спаслись. По пальцам пересчитаешь, кто успел в лес уйти, а остальных в овраге положили. Ездила туда. Разыскала место, где расстреляли. Глубокий овраг. Внутри темно, а склоны цветами покрыты. Разные цветы. Усыпаны склоны! Долго сидела на краю оврага. Всё плакала, говорила с матерью и братишками, и показалось, что цветы качаются, словно разговаривают. И правда, прислушаешься, будто шёпот отовсюду доносится. Видать, души людей, кто погиб здесь, в цветы превратились. А потом снова приехала. Осень на дворе была, когда навестила родных. Листва с деревьев облетела, а склоны сплошь в цветах, которые закачались, когда с ними заговорила. Долго сидела, обо всём говорила, и о жизни – тоже, потом насыпала земли из оврага, где они были расстреляны, где кровь рекой текла, и остановилась на ночлег у старухи, что жила на краю леса. До утра просидели. Обо всём говорили с ней. А утром, когда я собралась в дорогу, она сунула узелок в руки и сказала, что в этих семенах души людские находятся. Сколько лет хранила, не знала, где посадить. Дома рассыплю на столе, по семечку перебираю и разговариваю с ними, как с живыми людьми, и казалось, что они отвечают. Не знала, где посадить цветы, а ты словно почуял. Отдал свой садик, и я словно ожила. Посижу рядышком, всех повспоминаю, поздороваюсь с ними, каждого по имени назову, со своим Захаром поговорю, с матушкой пошепчусь, отцу поклонюсь, и душа успокаивается. И они, наверное, тоже радуются, что их не забываю. Там радуются...

И ткнула рукой вверх, словно на небеса показывала. Замолчала. Сидела, раскачивалась и о чём-то думала. Наверное, своих вспоминала...

Долго сидел Захар, не решаясь подняться. А потом вышел и потихоньку прикрыл дверь.

С той поры Захар подружился с соседкой. Они не разговаривали. Захару хватало того, что от неё услышал, а лезть в душу не привык, да и она не дала бы влезать. Он свикся с одиночеством, и она привыкла к такой же жизни. Бывало, Захар возвращался с работы, садился на скамейку возле её садика и подолгу смотрел на цветы, о чём-то думая. И баба Вера присаживалась. Также молчала. Разговоры были ни к чему. Они были разными по возрасту, но в то же время что-то их связывало. И это что-то было – одиночество.

Однажды, вернувшись с работы, Захар привычно налил чай в кружку, сыпанул побольше сахара, чтобы ложка стояла, как он говорил, взял кусок хлеба, подошёл к окну, уселся на подоконник, взглянул вниз и поперхнулся. Цветов бабы Веры не было. Чернела земля, и виднелись растоптанные кучки зелени, а мимо журчал ручеёк из прохожих-живчиков. Одни шли, ничего не замечая, а другие останавливались, взглянув на разорённый садик, но в спину толкали прохожие, и они снова торопились вперёд. Много народу проходит через двор, но никто не видел, как разорили садик, кто уничтожил цветы – эти души людские, как называла их баба Вера.

Баба Вера заболела. Сильно. Редко стала на улице появляться. Выйдет, постоит возле своего клочка земли, где так и валялись выдранные цветы, посмотрит и начинает о чём-то шептать. Наверное, прощения просила за тех, кто цветы выдрал. Даже не присаживалась, а постоит, прислушается, но никто ей не отвечал, и тогда она потихонечку уходила домой.

Захар долго наблюдал за ней и садиком. Он не любил цветы, потому что они умирают. Но жалко стало бабу Веру. Посадила полевое разноцветье и сидела вечерами, с душами разговаривала. Верила, что души всех людей переселяются в цветы. А иначе быть не может, потому что они кивают ей, а это значит, что слушают и отвечают. Но у кого-то поднялась рука. Взяли и убили души. Баба Вера разболелась. Даже с Захаром не разговаривала. Мимо идёт и не замечает. Смотрит на него, а не

видит. Окликнут – она не слышит. Одна-одинёшенька осталась в своём мирке – в этом самом одиночестве.

Захар смотрел на неё, о чём-то думая, а потом стал пропадать по выходным. Уезжал. А куда – никому не говорил. Да и поделиться не с кем было. Ни жены, ни друзей. Он тоже жил в своём мирке, как и баба Вера. Вокруг столько людей, а он остался одиноким. Поэтому чувствовал в бабе Вере родственную душу.

Но один раз, поздним вечером, когда все разошлись, а ручеек из людей-живчиков стал потише журчать по двору, Захар появился возле клумбы, держа в руках тонкую небольшую берёзку. Присел на лавку. Закурил. Потом убрал мусор из разорённого садика. Взял саженец и невольно взглянул на крышу, где когда-то росла его берёзка – берёзка детства, которую вырвали с корнем, за которой он ухаживал, возле которой он сидел и мечтал. И сейчас в его руках было такое же тонкое и светлое деревце, как из его прошлого. Выкопал ямку. Посадил и полил берёзку. И показалось, что она качнула ветками, словно заговорила с ним. Захар опять сунулся в карман. Долго шарил, потом достал тряпицу, в которой было небольшое семечко. Он долгое время ездил по округе, разыскивая такие же семена, как у бабы Веры. Хотел для неё посадить, но семена не попадались. А многие продавцы крутили пальцами возле виска, мол, смотрите, дурачок объявился. Нормальные люди хорошие цветы сажают, а этот ищет семена полевого разноцветья, да не простого, а чтобы цветы говорить умели. И опять крутили пальцами. Дурачок, что ещё скажешь! Но однажды его остановила старушка, которая продавала на рынке всякую всячину. Остановила, а потом протянула тряпочку, на которой лежало всего лишь одно-единственное семя, и сказала, что это душа. Если её посадить на месте вырванных и ухаживать, тогда появится цветок, каких свет не видывал, потому что в него поселятся души людские. И проговорила, словно мысли бабы Веры прочитала, что цветы – это души людей. Отдала семечко и денег не взяла. Сказала, что это не покупается и не продаётся, а свыше даётся. Вернувшись, Захар посадил тонкую берёзку, рядом с ней закопал в землю вырванные цветы – убитые души людские, как старушка посоветовала, а поверх положил семечко. Присыпал землёй и плеснул воды. Покурил, посматривая на садик, потом отправился спать.

А под утро Захар проснулся. Показалось, что за окном необычный отсвет появился. Долго смотрел на стену, по которой пробежали яркие всполохи, потом не выдержал. Поднялся. Подошёл к окну. Распахнул. Выглянул и мотнул головой, не веря глазам своим. На пустом клочке земли, где он поздно вечером посадил семечко и небольшой саженец берёзки – там был отблеск. Даже не отблеск, а свет пульсировал, будто сердце бьётся: удар, пауза, снова удар и опять пауза...

Захар не удержался. Оделся и заторопился по лестнице. Подошёл к клумбе и увидел, что возле тонкой берёзки расцвёл необычный цветок с множеством лепестков, похожих на сердечки, как привыкли их рисовать. Лепестки переливались, словно живые. Пульсировали: удар, пауза, удар, пауза. И так непрерывно. И с каждым ударом на цветке появлялся новый лепесток, и непрерывно менялся цвет, словно радуга играла. Захар присел на лавку, что была рядом с садиком, наблюдая за необычным цветком. Не услышал, как подошла баба Вера. Рядом присела и что-то прошептала, а потом надолго замолчала, внимательно прислушиваясь, на цветок смотрела, потом на Захара, снова на клумбу, и медленно перекрестилась.

– Слава тебе, Господи, услышал мою просьбу, – сказала баба Вера. – Они вернулись, а я уж опасалась, что...

И замолчала, продолжая смотреть на цветок.

– Кто вернулся? – не поворачиваясь, сказал Захар.

– Души людские, – соседка ткнула пальцем.

И, раскачиваясь, стала о чём-то шептать, будто с цветком разговаривала, прислушивалась и снова шептала. Долго сидела и разговаривала, а потом взглянула на

Захара, который сидел, задумавшись, и замолчала. Мимо них торопились прохожие. Одни шли по двору, не обращая внимания на клумбу. Шагали, посматривая под ноги, и – ни одного взгляда в сторону. А некоторые с любопытством глядели на необычный цветок. Они рады бы остановиться, но сзади подталкивали, и прохожие торопились по своим делам, а Захар и баба Вера сидели вдвоём на скамейке и молчали. Они были разные, но в то же время похожие друг на друга – эти два одиночества в огромном мире. Над головами занимался рассвет нового дня, мимо журчал ручеек из проходных-живчиков, а перед ними разноцветьем полыхал живой цветок. Удар, пауза – новый лепесток, удар, пауза – ещё одна душа... Это души людские возвращались.

## **Живи, брат**

Ночь. Тьма за окном. Кромешная тьма, тяжелая. Грузом неподъемным давит. Мысли медленные, тягучие, как сама ночь. Долгая она, нескончаемая. И ждешь рассвета, не как начала нового дня, а как освобождения от всего наносного, от этих мыслей ненужных, которые всю ночь в голове ворочаются и в стопки укладываются. Хорошие мысли в одну стопку, а плохие в другую. А стопка с тяжелыми мыслями всё больше разрастается, с каждым днем увеличивается и будет ли конец этим мыслям – неизвестно...

– Привет, Славик, – сказал я, услышав голос брата. – Как дела? Чем занимаешься?

– А, привет, Мишка, – хрипловато закрипел брат, и показалось, он нахмурился от бесконечных, но одинаковых и надоевших вопросов. – А чем мне заниматься? Вроде, сплю, но в то же время не спится. Иван приедет, сделает уколы на ночь, а чуть погода очнётся и курю до утра. Боли замучили. Места себе не нахожу. Устал я, брат. А с другой стороны, жить бы ещё и жить, если подумать, но впереди дорога под уклон и билет в один конец. И с каждым днем дорога становится короче. Скорее бы отлучиться...

– Живи, брат, – немного помолчав, сказал ему. – Живи, сколько свыше отпущено. Любым путем держись. Не опускай руки. Отвлекайся. Если сляжешь, потом не поднимешься...

– Я устал жить... – опять повторил брат, кашлянул, и было слышно, как застонал, а потом не сдержался и чертыхнулся. – У меня повсюду метастазы. Грызут меня, спасу нет. Иван к себе звал, когда моя Маша умерла, а куда я пойду? Сам не сплю и другим не дам. У него семья, сам работает. Он, бедняга, и так со мной замучился. На дню по десять раз приезжает, как говорится. Ай, да что говорить! Сам же знаешь...

– Всё знаю, брат, но живи, – опять я повторил. – Ты должен жить...

Ночь за окном. Вроде, тьма, но в то же время если посмотреть, среди этой темноты повсюду светятся окна в квартирах. И за каждым окошком идет своя жизнь. Одни вернулись с улицы. Это, скорее всего, молодежь. А родители ждут их, прислушиваясь к каждому звуку в подъезде. Так всегда бывает. Это жизнь. Другие с работы возвращаются. Вторая смена закончилась. Пока доберешься на трамвае или на автобусе до города, а потом еще тащись на другой конец, если далеко живешь, вот и получается, много времени тратится на дорогу до дома. И вздыхаешь облегченно, когда открыл дверь и зашел в квартиру, а там тепло, чем-то вкусным потянуло с кухни, но главное – тебя ждут, когда вернешься с работы, и видно по глазам, что радуются, что наконец-то ты вернулся. Ожидание бывает всяким – радостным, волнующим, долгожданным, и что-то хорошее должно произойти, но бывает ожидание тяжелым, когда день вечностью кажется, когда время тянется так медленно, что, казалось бы, конца и края ему не видно – этому ожиданию. Но в то же время, оно мчится с огромной скоростью и понимаешь, что бесполезно стоять на его пути, хотя ты готов пойти на всё, лишь бы отдалить этот конец, а еще лучше, чтобы беда мимо

твоей семьи прошла, чтобы все были живы и здоровы, но, к сожалению, ничего не изменишь в этой жизни...

– Привет, брат! Как дела? – сказал я, взглянув в темное окно. – Опять не спишь? Иван давно уехал? Я тоже не сплю. Стою возле окна. Смотрю, повсюду окна светятся, и по улице люди рекой текут. И не скажешь, что ночь на дворе, – и повторил. – Ты снова не спишь?

– А, здоров, Мишка, – медленно, скрипуче сказал Славик. – Да какой сон? Уколы не снимают боль, а лишь притупляют её, словно зубы ноют и ноют постоянно. Глаза закрою и лежу. Очнусь, вроде спал, а на часы взгляну, всего ничего дремал. Устал я, брат. Болит всё. Боюсь лишний раз пошевелиться. А тебе чего не спится, брат?

– Сам знаешь, я уже который год мучаюсь бессонницей. Как заболел, с той поры не спится. Два-три часа если подремлю – это уже очень хорошо, бывает, меньше часа, а остальное время лежу, мысли перебираю, по полочкам раскладываю. Или в окно смотрю. Слушаю ночь, а летом, бывало, по звукам определяю, куда рыбаки отправились рыбачить – к мосту или на Красные берега, – и повторил. – Я привык к такой жизни, брат. Понимаю, что тебе тяжело, но ты должен терпеть... – помолчав, сказал ему, хотя понимал, что все мои советы – это пустые слова и не более того, но нужно было их говорить, и непонятно для кого – для брата или собственного успокоения. – Терпи, Славка...

– У всех людей терпение заканчивается, и у меня – тоже, – не сказал, а выдохнул Славик. – Врачи обещали, что проживу не более двух-трех месяцев, а я уж сколько времени мучаюсь и других мучаю. Видать, грехи не пускают. За время, когда я заболел, уже старший брат умер, мою Марь Ивановну схоронили, а я продолжаю мучиться на этом свете. За что такое наказание, брат? – и снова не сказал, а выдохнул. – Не выдержу, остановлю сердце. Меня учили этому...

Сказал, и в трубку было слышно, как он, едва сдерживаясь, застонал, а потом снова зачертыхался. Видать, пытался повернуться на бок или подняться с дивана.

– Я тоже знаю, как это делается, но тебе нужно терпеть, – сказал я, чуть помедлив. – Это большой грех.

Я говорил брату, а самому казалось, что всё это пустые слова, ничего не значащие. Терпи, обязан, должен... Сколько не повторяй, а легче от них не станет. Это брату приходится терпеть. Он прекрасно знает, что ему осталось жить на белом свете всего ничего. Другой бы сломался, руки опустил и всё – нет человека, а брат головой бьется из-за нескончаемых изводящих болей, зубами скрипит, под корень стер их и терпит. Все стараются поддерживать его, хотя даже на мгновение представить не могут, во что обходится брату каждая минутка жизни, каким мерилom можно измерить его терпение и ту боль, которую он испытывает – этого никто не знает. Знает лишь он – брат...

– Плохо мне, Мишка, – опять выдохнул брат и повторил: – Остановлю сердце. Знаю, что грех, но уже силы не осталось. Устал я, брат...

– Не бери грех на душу, – сказал я. – На твоём Иване отразится.

– Видать, предел моему терпению пришел, – проскрипел брат, помолчал и опять повторил: – Я устал. Ты должен меня понять...

Сказал, и было слышно, как заскрипел остатками зубов.

– Понимаю... Но терпи, Славка, – опять я повторил эти ничего не значащие, как мне казалось, слова. Ведь брат же прекрасно сам всё видит и понимает, а все поголовно твердят: терпи, обязан, должен, а сами даже понятия не имеют, что это такое – терпеть. – Эта смерть отразится на Иване, а ему и так в жизни досталось, что врагу не пожелаешь. Молодой еще, но уже мать похоронил, а сейчас ты вздумал руки на себя наложить. Нельзя, брат! Ты должен терпеть. Иначе Иван будет отвечать за этот поступок. Дети повторяют судьбу родителей. И за грехи родителей расплачиваются

дети. Помни об этом. Ты должен жить, брат...

И опять: должен, терпи... Если бы можно было вместо этих ничего не значащих слов помочь чем-то другим, лишь бы унять его нескончаемую боль, лишь бы брату облегчить его страдания, я всё бы для этого сделал, как и многие другие, но всё уже бесполезно. Врачи выписали брату билет в один конец. Оказалось, легче расписаться в своем бессилии, чем попытаться помочь человеку. И остались одни слова: терпи, должен, обязан... А еще всем осталось глядеть, как на глазах умирает брат, как с каждым днем уходит из него жизнь, не оставляя ему ни единого шанса, а мы смотрим на него и ничем не можем помочь – это страшно и очень больно...

Говорили-то обо всем, а у него нет-нет, но проскочит, что устал жить и скорее бы к одному концу, и стараешься сразу же перевести разговор на другие темы, лишь бы его немного отвлечь от этих мыслей. В основном говорили ночами. Днем брат отвлекался. Ему часто звонили, чему он был рад, а бывало, заходили, а вот ночами было тяжело. Он оставался один на один со своей бедой. Я по себе знал, что это такое – быть одному, когда семья спит, а боль изводит тебя, когда горстями глотаешь таблетки, а облегчения никакого. Вроде, мыслей много, а всё чаще и чаще выплывала одна – «Скорее бы...». Так было и с братом, но его диагноз куда страшнее – это билет в одну сторону на скорый поезд, который уже не остановишь...

Ночь за окном. Темная, осенняя и ветренная, а поэтому – холодная. Слышно, как на улице завывает ветер. Вроде, окна закрыты, а в комнате сквозняк. Немного времени пройдет, и зима ляжет. А пока за окном тьма, голые ветви тревожно хлещут по стеклу, словно предупреждают о чем-то, словно что-то хотят сказать или предостеречь, и от этого на душе становится еще тоскливее и беспокойнее...

Я был первым, кому брат сообщил про онкологию. Ранним утром позвонил и рассказал, что у него нашли саркому. Сказать, что обухом по голове эта новость, – значит, ничего не сказать. Не подобрать слов, которыми можно описать состояние, когда узнал, что у брата саркома в последней стадии. И врачи пообещали ему, что проживет всего лишь два-три месяца и не более того. Врачи отказались от него. Неоперабельный. Ничего не поможет. Подобрали лекарства для него и отправили умирать домой. Брат говорил об этом, вроде бы, спокойно, а в голосе чувствовалась тоска и обреченность. Всего лишь два-три месяца, а потом...

А вечером нагрязнули гости. Хотелось биться головой о стену, но мне приходилось улыбаться и делать вид, что ничего не произошло, потому что брат попросил пока никому не говорить – сам расскажет, когда время придет. И я молчал, а хотелось вскочить и крикнуть... Нет, даже не крикнуть, а заорать, о каком гостеприимстве может идти речь, когда у нашего Славика беда, что врачи пообещали всего лишь два-три месяца жизни? Два-три месяца – это мгновение, маленькая частичка времени, которое не заметишь, а для брата любая секунда – на вес золота. Очень хотелось закричать, рассказать, что произошло, но приходилось терпеть. А когда проводили гостей, я ушел в комнату, присел в кресло и, задумавшись, притих. Словно что-то щелкнуло внутри, отключая все праздники и радости жизни: как можно чему-то радоваться, если в дом пришла беда? Гости ни в чем не виноваты. Они не знали, что с братом случилась беда. Но мне, честно сказать, было не до них. Я не понимаю, что произошло со мной. Не знаю, что повлияло, но это, скорее всего, болезнь брата сыграла роль – я почти со всеми постепенно перестал общаться, а может, виноват еще мой упрямый характер. Я никого не хотел ни видеть, не слышать, кроме своей семьи и его, Славика, потому что брат был самым близким человеком из всей нашей большой семьи. Он был, есть и останется лучшим из всех. Да простят меня остальные! Славик был для меня братом, другом, наставником по жизни, с ним можно было посоветоваться или рассказать то, чего никому бы не доверил. Брат был для меня всем. И я даже в мыслях не держал, что с ним может что-нибудь случиться. А когда он заболел, я, скорее всего, сломался, замкнувшись в себе. Всё общение сузилось до

размеров семьи и до него, Славика...

– А наш Иван купил новую машину, – хрипловато-скрипуче сказал брат. – Большая!

– Молодец, что еще скажешь, – сказал я. – Правда, я равнодушен к технике. Помнишь, после рыбалки улетели в кювет? Вот с той поры, когда в приборную доску воткнулся головой, у меня всё желание отбило к машинам. Сразу и навсегда!

И я захмыкал, вспоминая, как летели в кювет, потом сильный удар о землю и следом – головой о приборную доску, показалось, что сейчас мозги вылетят, и наступила тишина, когда открыл глаза, передо мной белым-бело – это был снег на лобовом стекле, но в голове промелькнуло, когда белое увидел, «Неужели это всё – конец?».

– У, а я люблю машины! – опять сказал брат. – На такой хорошо на рыбалку ездить. Везде пройдет. Иван подъезжал к дому, чтобы я взглянул. А что сверху-то увидишь? Эх, посидеть бы в ней! Мне бы только спуститься по лестнице, а потом снова подняться. Силы не осталось. Ноги не держат, – и снова повторил. – Эх, как же мне хочется посидеть в новой машине!

Он радовался и гордился, что сын купил новую машину, а в голосе тоска и безысходность.

Ночь за окном. Всё так же перемигиваются звезды в иссиня-черном небе, всё так же светятся окна в домах. Вдали прошумела машина. Над головой скрипнули полы. Наверное, сосед поднялся, чтобы покурить на балконе. Тьма за окном. И оттуда донеслись пьяные голоса. Кто-то вскрикнул, матюгнулся. Видать, споткнулся. А затем вразной затянули песню, и постепенно голоса затихли вдали. Люди веселятся, а здесь...

– Все названивают и спрашивают, как дела, как дела, словно поговорить не о чем... – заскрипел голос брата в трубке. – Будто сами не знают, как мои дела... Что каждый раз спрашивать – не понимаю...

– Не обижайся, брат, – сказал я. – Это же обычный вопрос, какой всегда задают людям. И меня спрашивали, как дела, когда я заболел. И мне было обидно, зачем это говорят, будто не знают, какие у меня могут быть дела, если сижу в четырех стенах, а людей вижу с высоты пятого этажа и отвечаю на редкие звонки по телефону. Одни мимо моего дома проходили, даже голову не поднимали, чтобы на окна взглянуть или рукой махнуть, видите ли, им тяжело на пятый этаж подниматься, а у других времени не нашлось, чтобы мне позвонить. Мне ничего от них не нужно было, просто возьмите и позвоните, и задайте простой, но приевшийся вопрос, мол, как дела, а я даже был бы ему рад. Но с каждым разом звонков становилось все меньше и меньше. И никто не задумывается, что с каждым днем они все больше отдаляются от меня, а получится ли сблизиться, сможем ли опять найти общий язык – не знаю, потому что время упущено, и я этого не захочу. Дважды в одну реку не входят. Ладно, что уж говорить – это жизнь, где каждый человек шагает по своей тропке. А сейчас всё мое общение свелось к семье и тебе, брат – этого мне вполне стало хватать. Ладно, я малообщительный. А тебе каждый день звонят и звонят, а то в гости приходят. Радуйся, когда спрашивают, как твои дела. Хуже, если телефон замолчит или мимо твоего дома будут проходить, словно не замечая тебя в окне...

И опять начинались долгие разговоры. Разговоры ни о чем, но в то же время мы разговаривали о жизни. Славик чаще вспоминал прошлое – а ты помнишь, как... Помню, брат! Это «помню» останется до последнего дня и уйдет вместе с нами. А я еще вспомнил, как мать купила конфеты и спрятала от нас. Всю квартиру обыскали, чуть в школу не опоздали, а оказалось, мать сунула в бидончик и повесила на стену перед кухонным столом, где кушали. Сколько раз смотрели на него и не замечали, а когда увидели, уже всё хотенье пропало. Да, брат, помню! Мать еще нагоняя устроила, что всю квартиру перевернули. И мы смеялись, вспоминая. А помнишь, как

с тобой пешком добирались до Нугуша, а потом нас племенной бык гонял на плесе... Конечно, помню, Славка! С той поры не только быков, но и коров опасаясь. Эх, а я бы сейчас в Васильевку подался. Ребята говорили, лещ со страшной силой идет. Съездить бы... И Славик вздыхал. Когда он заболел, Иван несколько раз возил его на рыбалку. У, как хорошо было! Брат возвращался и начинал рассказывать – «Мне рыба не нужна. Просто сидишь возле реки или озера и прислушиваешься. Там плеснула рыба, а тут пережат заговорил. Солнце появилось, и вода заиграла. А воздух такой, что хочется вдохнуть и не выдыхать, а вокруг тебя такая красотища... Слышь, Мишка, получается, чтобы понять и увидеть эту красоту, которую ты раньше не замечал, для этого нужно заболеть?». Брат замолчал, и казалось, будто он в душу заглядывал, словно опять побывал на том берегу речки или озера и снова увидел красоту здешних мест. А потом опять: «Эх, сейчас бы прокатнуться...» И вздыхал. А дальше принимался что-нибудь рассказывать, даже пытался смеяться, но я чувствовал тоску в его голосе. Да и как не затоскуешь, если тебе осталось жить на белом свете всего ничего. И брат прекрасно это понимал. И всё же, что ни говори, Славик все равно умел радоваться каждой отведенной ему минутке. Ну, а другие... Все знали и понимали, но каждый относился к его болезни по-своему. Кто-то начинал вздыхать, эхать и охать, и все говорили, я бы тебе помог, но не знаю, как, но ты все равно держись... Другие разговаривали, словно ничего не произошло – это и понятно. Лучше держаться на равных, чем всякий раз напоминать о беде. А некоторые приезжали к нему, чтобы просто посидеть рядышком и поговорить с ним. И видели, как он радовался гостям. Радовался каждой минутке, каждому мгновению, проведенному с ними, а то внезапно замолчит и смотрит на гостей, переводит взгляд с одного на другого, словно старается запомнить каждую черточку на лицах, а может, хотел заглянуть в душу... Нет, не в души гостей, а в свою, чтобы попытаться понять, почему же так случилось, в чем он провинился, что в его дом пришла беда и от нее никуда не денешься. Время на вес золота. И для брата каждая секунда его жизни превратилась в золотую...

За окном ночь. Долгая, тягучая. Казалось, протяни руку и можно ее потрогать. Густая и вязкая – эта самая ночная тьма. И если взглянуть, среди этой тьмы светятся окна. Много. Ночь на дворе, а люди не спят. Одни смотрят программу по телевизору, другие с работы вернулись. Устали. Поужинают или чай попьют – и на боковую. А в некоторых свет будет до утра гореть. Кто-то до утра не спит. У одних бессонница, некоторые с детьми нянькаются, а другие рады бы уснуть, но боль изводит, покоя не дает, а лекарства, какие принимают, дают лишь временное облегчение, а потом снова наваливаются эти боли, от которых никуда не денешься, хоть волком вой, хоть об стену головой...

– Ванёк со своей семьей приходил, – проскрипел Славик, и по голосу чувствовалось, что радуется он и наговориться не может. Радуется тому, что внука и внучку приводили. Пусть тяжело, а внуки – это лекарство, как говорится. – Ярик с порога стал рассказывать, как в парк ходили, как с папкой в футбол играли, сколько голов забил, а теперь он кушать хочет и его нужно кормить. Внучка-то, Настёна, постарше. Зашла, присела на диван и молчит. Я знал, что они после футбола зайдут. Потихонечку обед приготовил. Сноха принесла щи с кислой капустой. Я две ложки съел и мне хватило. Ребят накормил. Посидели немного, а потом домой отправились. Завтра рабочий день...

– А в шахматы продолжаешь играть? – спросил я. – Ты ж хвастался, чуть ли не у всех выигрывал...

– Нет, Мишка, не хочу, – опять заскрипел Славик. – Как умерла моя Марь Иванна, ничего не хочется. Она заставляла меня, теребила, а её не стало, и на душе – пустота. Раньше играл в шахматы и книжки читал, какие Иван закачал, а в последнее время даже ноутбук не трогаю. И книги перестал читать. Устал я, – и опять повторил. – Ничего не хочу...



Правду говоришь, брат, Маша оберегала семью, а когда ты заболел, махнула рукой на свои болячки и взялась за тебя, чтобы ты хоть немного, хотя бы лишний денек прожил на этом свете. У нее семья была на первом месте. Она говорила, что не сможет жить одна, если с тобой что-нибудь случится. И всегда повторяла это. Маша не хотела, чтобы ты ушел первым. Она боялась одиночества. Возвращаться домой, открывать дверь, а там никто не ждет... Долгие вечера в пустой квартире, а ночами лежать, вспоминать прошлое и ждать, чтобы побыстрее наступило утро. Наступит, а для чего? Чтобы снова одной сидеть в четырех стенах, где тебя нет? И ушла первой. Всё произошло неожиданно для всех, когда узнали, что её с высоким давлением увезли в реанимацию, инсульт, несколько дней в коме и всё. Оттуда она не вышла. И поэтому на душе было тяжело и больно.

Ночь за окном. Темная, тягучая. Светятся окна в темноте. И среди них есть и твои окна, брат. Пусть их не видно, но я точно знаю, что свет будет гореть до утра. Тишина на улице. Редкий раз проедет машина, или донесется звук каблучков, а то раздастся натужный кашель, откуда-то пахнёт табаком и – опять тишина. Куда ни глянь, светятся окна в домах. А за окном ночная мгла. Протяни руку и почувствуешь ее – вязкую, тяжелую – тоскливую.

– Привет, брат, – сказал я. – Чем занимаешься?

– Лежу, – помолчал, проскрипел брат. – Думаю...

– О чем задумался? – спросил я, поглядывая на темные окна.

– Так, ни о чем... – снова помедлив, сказал Славик. – Всякая дрянь в голову лезет. Машу похоронили, а у меня руки опустились. Знаю, нужно чем-нибудь заняться, а не хочу. И боли измучили. С каждым днем всё сильнее становятся. Не шевелюсь, как бы терпимо, а чуть повернулся и криком кричи. Жду, когда придут, уколы сделают. Вроде, становится полегче. Даже дремать начинаю, как будто сны вижу, а очнусь – и всё, словно не спал. И дожидаюсь, когда утро настанет. Уколы некуда делать. Кожа да кости остались. Кожу в пригоршню соберут, а проколоть не получается. Кожа в пергамент превратилась. Ничего не хочу. Скорее бы к одному концу, чтобы самому отмучиться и других не мучить.

– Рановато собрался туда, – сказал я, продолжая посматривать в окно, за которым прошумела машина, и снова наступила тишина. – Не знаю, Славик, не получается найти нужные слова, чтобы как-то поддержать тебя или что-нибудь посоветовать, потому что слова – это ветер в поле. Сам же говоришь, что тебе надоело слушать, когда спрашивают, как дела и здоровье. И я не хочу повторять одно и то же. И не хочу тебя учить, но если будешь лежать, долго не протянешь. А у тебя Иван с семьей, мы еще есть, знакомые и друзья. И все хотят, чтобы ты подольше пожил. Заставляй себя, брат. Через силу, через «не хочу», но заставляй. Чем-нибудь занимайся. Нужно или не нужно, но делай. Вон, твой Иван приезжает на обед. Ему что-нибудь приготовь. Пусть простенькое, хоть картошка в мундирах, а он будет доволен, и ты порадуешься, как за него, так и за себя. Внукам своим готовь. Ведь в выходной Иван с семьей приедут к тебе. Накормишь ребятшек. И они рады, и ты отвлечешься...

Я на своем опыте убедился, как сложно выбираться из депрессии, когда заболел. Словно доску из-под ног выбили. Кажется, жизнь прошла, а впереди ни одного просвета, одни сплошные черные полосы виднеются. Ничего не хочется делать, никого не хочется видеть и слышать. Сидеть на диване, закрыть глаза и чтобы к тебе не подходили. А ты будешь сидеть и себя жалеть и на других обижаться, почему у них всё хорошо, а у тебя хуже некуда. Они здоровые, а ты живешь на одних таблетках и уколах. И они, эти здоровые, не понимают тебя, больного, что тебе очень плохо. И не видишь никакого выхода из этого тупика жизни. А раньше всё было по-другому. И ты нужен был всем, и приходили, и звонили, то одно, то другое, третье, пятое, десятое. Как белка в колесе крутился, потому что нужен был, а сейчас – нет... Вот и по-

лучается, что человек нужен, если от него есть польза, а когда заболает, о нем забывают. Пусть не сразу, но забывают. И от этого на душе еще хуже становилось. Раньше мир был разноцветным, а сейчас стал черным и угрюмым. Вот здесь-то и нужно понять и принять, что ты стал другим в сравнении с остальными и прошлую жизнь не вернешь, а нужно привыкать и учиться жить этой жизнью – сегодняшней, как бы плохо ни было.

Мне пришлось привыкать к этой новой жизни. Потихонечку, шаг за шагом, но всё же удалось вернуться в жизнь. Я понимал, что таким, каким раньше был, мне уже не стать. А чтобы привыкнуть к новой жизни, нужно чем-нибудь заниматься, лишь бы отвлечься от дурных мыслей. Мне удалось выкарабкаться, потому что у меня было будущее, а вот у брата его нет... Врачи на нем поставили огромный крест и списали. Сразу списали, когда установили точный диагноз. Окончательно и бесповоротно! Даже не попытались лечить его. А зачем? Легче подобрать лекарства и отправить умирать, чем пытаться что-либо сделать. И отправили. И ни один из них не задумался, а как же он – этот здоровый с виду человек – станет жить, тем более не думали про его семью. Жить оставалось два-три месяца, как сказали врачи. Сказали и ошиблись. Брат прожил три года и почти до последнего дня своего был на ногах. И ни один врач не произнес, что всё-таки можно было... Нет, даже нужно было рискнуть и взяться за его лечение. Они не думали, потому что списать человека куда легче, чем его лечить. Дали ему билет в один конец...

Ночь за окном. Темная и тягучая. Повсюду видны огоньки. Светятся окна, словно кому-то дорогу освещают. А может, и правда, что указывают путь. Одни из дома отправляются в дальнюю дорогу, а другие возвращаются, но везде их ждут. Ждут, когда они доберутся до места или вернутся домой. Расстаться, чтобы встретиться вновь.

...Я не спал – это точно. Я чувствовал спиной кровать, одеяло под рукой, слышал, как прошумела машина за окном, и понимал, что лежу на кровати, не сплю, но в то же время я находился рядом с братом. Плечом к плечу. Мы были не в помещении – это точно, но и не на улице. Вокруг нас было что-то другое и необъяснимое. Скорее всего, мы стояли перед порогом, так называемым. Эти пороги есть у каждого человека. Никто мимо не пройдет. Настанет его время, человек переступит через него и уйдет туда, откуда не возвращаются. У Славика онкология. Он знал, что ему предстоит уход из мира сего, и брат этого боялся, хотя и скрывал от других. Но мне говорил, что устал от всего, и скорее бы уйти, а его не забирают, видать, слишком много грехов на нем – это были его слова. Он устал. Сильно. Я чувствовал это и понимал, что ему осталось всего ничего. Он уже подошел к той черте, когда нужно решиться и переступить этот самый порог. Всего лишь шагок. Небольшой шагок, и он будет там. А я был не проводником, а кем-то другим. Скорее всего, я должен был показать, что или кто ждет его за порогом жизни. Я стоял с братом. Плечом к плечу. Он молчал. Смотрел куда-то вдаль и молчал. Я был возле него. Может быть, он бы и раньше переступил порог, но что-то ему мешало. Видать, земные дела его держали. Мы стояли, а перед нами – это я хорошо чувствовал – была какая-то преграда. Словно невидимая стена стояла, а за ней я увидел мать и его жену, Машу. Они были в кремово-охристой свободной одежде. Одежда похожа на балахоны, спадающие до земли, на головах такого же цвета платки, светлые лица, а рядом с ними был брат, Юрка, тоже в таких же одеждах, но без головного убора, и он на шаг-два находился в стороне от них, словно это пустое место было приготовлено для Славика. Ему оставалось шагнуть, и он окажется рядом со своей женой. Они стояли и молча смотрели на нас. Нет, даже не на нас, а на брата, на Славика. Молча и неподвижно, словно ждали, когда же он решится и переступит этот порог жизни. А он стоял и не шевелился. Мне не видно было, что находилось за спинами матери, снохи и брата, но там, за этим порогом, всё было словно в светло-золотистом тумане, и что-то подсказывало мне, что

там, кроме них, в этом тумане, еще кто-то или что-то есть. Много! Они не одни за порогом жизни – это точно. И все ждали брата. Скорее всего, они должны были его встретить, когда брат переступит порог жизни. Да, наверное, так и было... И мы стояли и смотрели на них. И тут я протянул руку, показал брату и сказал: «Славик, гляди, там же наша мать, твоя Маша и Юрка. Иди к ним, они ждут тебя! Иди...» Но брат стоял неподвижно. Я несколько раз повторил, чтобы он пошел к ним, но его продолжало что-то удерживать. Он никак не мог решиться на этот последний шаг, за которым будет уже другая жизнь. Порог, где оставляешь всё земное, сбрасывая с себя, словно тяжкий груз, и уходишь туда, где тебя ждут...

– Здравствуй, брат, – сказал я. – Как дела?

– А, Мишка, – едва слышно проскрипел брат и замолчал, потом хрипло выдохнул: – Тяжело мне. Вот и всё, отмучился. Отхожу я...

– Не понял, – помолчав, сказал я, а сердце затрепыхалось, заработало неровно и с переборами.

Я понимал, о чем говорит брат.

– Тяжело мне, – через некоторое время сказал брат и снова повторил: – Вот и пришло мое время, отхожу я. Всё, брат!..

Ночь за окном. Зима на дворе, а ночи темные. Темные и тягучие, а еще – больные. И понимаешь, что ничего нельзя изменить в этой жизни, ничего обратно не вернуть. Время – это вечность, но вместе с тем оно мчится с огромной скоростью и невозможно его остановить. Нельзя его замедлить, нельзя повернуть вспять и отмотать какой-то отрезок жизни обратно, чтобы сказать... Нет, закричать громко и протяжно: «Живи, брат!» Ты должен, ты обязан жить, потому что ты – брат! Но время движется, и ничем его не остановишь. Ночь за окном. Ночь долгая, нескончаемая. Конца и края не видно ей. А в ночи светятся окна домов. Казалось, спит город, но повсюду огоньки. И за каждым окном идет своя жизнь. И там, среди этого множества огней, светилось одно окно. Пусть не так ярко светилось, но его свет был дорог для многих, который обогревал, поддерживал и помогал, если это было нужно. Многие годы горел огонек, а сейчас потух, но в то же мгновение на небосклоне появилась новая звездочка – это брат перешагнул порог, за которым его ждали. Пусть звезда не такая яркая и не каждый сможет её рассмотреть среди множества других, но любой почувствует тепло, исходящее от нее. Протяни руку и ощутишь его...

Я каждую ночь подходил к окну и подолгу стоял возле него, вглядываясь в крошечную мглу, среди которой там и сям светились окна в домах. Я стоял и смотрел на россыпь огней, словно на что-то надеялся. А рядом со мной телефон. Казалось, сейчас раздастся звонок, я поспешно схвачу трубку и услышу долгожданный хриловато-скрипучий голос: «Ну, здравствуй, брат...» А я отвечу: «Привет, Славик!» И опять начнутся долгие ночные разговоры. О чем? Вроде, ни о чем. Будем вспоминать прошлое, говорить о сегодняшнем дне, думать о будущем, но одновременно мы будем разговаривать о жизни.

Я стоял возле окна. За окном тьма. Непроглядная и тягучая. А в небе горела звезда. Пусть не такая яркая, но протяни руку и почувствуешь её тепло. Я долго смотрел на нее, и мне хотелось распахнуть окно и закричать громко и протяжно: «Живи, брат!»

А за окном была ночь – тяжелая, нескончаемая и – тоскливая...